

Михаил Михайлович Пришвин

КЛАДОВАЯ СОЛНЦА

Сказка-быль и рассказы

Предисловие

О Михаиле Михайловиче Пришвине

По улицам Москвы, еще влажным и блестящим от поливки, хорошо отдохнувшим за ночь от машин и пешеходов, в самый ранний час неторопливо проезжает маленький голубой «Москвич». За его рулем сидит старый шофер в очках, шляпа сдвинута на затылок, открывает высокий лоб и крутые завитки седых волос.

Глаза смотрят и весело, и сосредоточенно, и как-то по-двойному: и на тебя, прохожий, дорогой, еще незнакомый товарищ и друг, и внутрь себя, на то, чем занято внимание писателя.

Рядом, справа от шофера, сидит молодая, но тоже седая охотничья собака — серый длинношерстный сеттер Жалька и, подражая хозяину, внимательно смотрит перед собой в ветровое стекло.

Писатель Михаил Михайлович Пришвин был старейшим шофером Москвы. Он до восьмидесяти с лишним лет сам водил машину, сам ее осматривал и мыл и обращался в этом деле за помощью только в крайних случаях. Михаил Михайлович относился к своей машине почти как к живому существу и называл ее ласково: «Маша».

Машина ему нужна была исключительно для его писательской работы. Ведь с ростом городов нетронутая природа все отдалялась, а вышагивать по многу километров для свидания с ней, как в молодости, он — старый охотник и ходок — уже был не в силах. Вот почему Михаил Михайлович называл свой ключик от машины «ключом счастья и свободы». Он носил его всегда в кармане на металлической цепочке, вынимал, позвякивал им и говорил нам:

— Какое это великое счастье — иметь возможность в любой час нащупать ключик в кармане, подойти к гаражу, самому сесть за руль и укатить куда-нибудь в лес и там карандашиком в книжке отмечать ход своих мыслей.

Летом машина стояла на даче, в деревне Дунино под Москвой. Михаил Михайлович вставал очень рано, часто с восходом солнца, и сразу садился со свежими силами за работу. Когда в доме начиналась жизнь, он, по его словам уже «отписавшись», выходил в сад, заводил там свой «Москвич», рядом садилась Жалька, ставилась большая корзина для грибов. Три условных гудка: «Прощайте, прощайте, прощайте!» — и машина катит в леса, на многие километры уходящие от нашего Дунина в сторону, противоположную Москве. К обеду она вернется.

Однако бывало и так, что часы проходят за часами, а «Москвича» все нет. Соседи, друзья сходятся у нашей калитки, начинаются тревожные предположения, и вот уже целая бригада собирается идти на поиски и выручку... Но тут раздается знакомый короткий гудок: «Здравствуйте!» И машина подкатывает.

Михаил Михайлович выходит из нее усталый, на нем следы земли, видно, где-то пришлось лежать на дороге. Лицо потное и запыленное. Михаил Михайлович несет на ремешке через плечо корзину грибов, делая вид, что ему очень тяжело — до того она полна. Лукаво поблескивают из-под очков неизменно серые зеленовато-серые глаза. Сверху, все прикрывая, лежит в корзине огромный боровик. Мы ахаем: «Белые!» Мы готовы сейчас всему радоваться от души, успокоенные тем, что Михаил Михайлович вернулся и все кончилось благополучно.

Михаил Михайлович садится с нами на скамейку, снимает шапку, вытирает лоб и великодушно сознается, что белых грибов всего лишь один, а под ним всякая незначительная мелочь вроде сыроежек — и смотреть не стоит, но зато, поглядите, какой гриб ему посчастливилось встретить! А ведь без белого, хотя бы одного, мог ли он вернуться? К тому же, оказывается, машина на лесной вязкой дороге села на пень, пришлось лежа выпиливать этот пень под днищем машины, а это не скоро и нелегко. И не все же пилить и пилить — в промежутках сидел на пнях и записывал приходившие мысли в книжечку.

Михаил Михайлович начинает читать полюбившуюся ему новую запись, и мы забываем весь мучительный день тревог и ожиданий.

Жалька, видимо, разделяла все переживания своего хозяина, у нее довольный, но все же усталый и какой-то помятый вид. Рассказать она сама ничего не может, но Михаил Михайлович рассказывает нам за нее:

— Запер машину, оставил для Жальки только форточку. Я хотел, чтобы она отдохнула. Но как только я скрылся из виду, Жалька начала выть и страдать ужасно. Что делать? Пока я думал, что делать, Жалька выдумала что-то свое. И вдруг является с извинениями, обнажая белые зубы улыбкой. Всем своим видом помятым и особенно этой улыбкой — весь нос на боку и все тряпки-губы, а зубы на виду — она как бы говорила: «Трудно было!» — «А что?» — спросил я. Опять у нее все тряпки набок и зубы на виду. Я понял: вылезла в форточку. Так жили мы летом. А зимой машина стояла в холодном московском гараже. Михаил Михайлович не пользовался ею, предпочитая обычный городской транспорт. Она вместе со своим хозяином терпеливо пережидала зиму, чтобы как можно раньше весной вернуться в леса и поля.

Самой большой нашей радостью было идти куда-нибудь далеко вместе с Михаилом Михайловичем, только непременно вдвоем. Третий был бы помехой, потому что у нас был заключен договор: по дороге молчать и лишь изредка перекидываться словом.

Михаил Михайлович все время поглядывает по сторонам, что-то обдумывает, время от времени присаживаясь, записывает быстро карандашом в карманную книжку. Потом встанет, блеснет веселым своим и внимательным глазом — и опять мы зашагаем рядом по дороге.

Когда дома он прочтет тебе записанное — удивишься: мимо всего этого сам ты шел и видя — не видел и слыша — не слышал! Получалось так, будто Михаил Михайлович идет следом за тобой, собирает твое, утерянное от твоего невнимания, и теперь приносит тебе же его как подарок.

Мы всегда возвращались с наших прогулок нагруженные такими подарками.

Расскажу про один поход, а таких за жизнь с Михаилом Михайловичем было у нас очень много.

Шла Великая Отечественная война. Трудное это было время. Мы уехали из Москвы в глухие места Ярославской области, где Михаил Михайлович в прежние годы часто охотился и где оставалось у нас немало друзей.

Жили мы, как и все окружавшие нас люди, тем, что давала нам земля: что вырастим на своем огороде, что в лесу соберем. Иногда Михаилу Михайловичу удавалось подстрелить

дичинку. Но и в этих условиях он неизменно с раннего утра брался за карандаш и бумагу. В то утро собрались мы по одному делу в дальнюю деревню Хмельники километров за десять от нашей. Надо было выходить на заре, чтобы дотемна вернуться домой. Я проснулась от его веселых слов:

— Посмотри, что в лесу делается! У лесовика — стирка.

— С утра за сказки! — ответила я недовольно: мне не хотелось еще подниматься.

— А ты посмотри, — повторил Михаил Михайлович.

Окно наше выходило прямо в лес. Солнце еще не выглянуло из-за края неба, но рассвет был виден сквозь прозрачный туман, в котором плавали деревья. На их зеленых ветках были развешаны во множестве какие-то легкие белые полотна. Казалось, действительно в лесу шла большая стирка, кто-то сушит все свои простыни и полотенца.

— И правда, у лесовика стирка! — воскликнула я, и весь сон мой убежал. Я сразу догадалась: это была обильная паутина, покрытая мельчайшими каплями тумана, еще не превратившегося в росу.

Мы быстро собрались, даже не попили чаю, решив его вскипятить по дороге, на привале. Тем временем выглянуло солнце, оно послало свои лучи на землю, лучи проникли в густую чащу, осветили каждую ветку... И тут все переменялось: это были уже не простыни, а покрывала, расшитые алмазами. Туман осел и превратился в крупные капли росы, сверкающие как драгоценные камни.

Потом и алмазы высохли, и остались одни тончайшие кружева паучьих ловушек.

— Мне жаль, что стирка у лесовика — только сказка! — огорченно заметила я.

— Вот еще, зачем тебе эта сказка? — ответил Михаил Михайлович. — И без нее вокруг столько чудес! Хочешь — мы вместе будем их по пути замечать, только молчи, не мешай им показываться.

— Даже в болоте? — спросила я.

— Даже в болоте, — ответил Михаил Михайлович.

Мы шли уже открытыми местами, краем заболоченного берега нашей речки Вексы.

— Скорей бы выйти на лесную дорогу, какая может быть здесь сказка, — говорю я, с трудом вытаскивая ноги из вязкой торфяной земли. Каждый шаг — усилие.

— Давай отдохнем, — предлагает Михаил Михайлович и садится на корягу.

Но оказывается, это не мертвая коряга, это живой ствол наклоненной ивы — она лежит на берегу из-за слабого упора корней в жидкой болотистой почве и так — лежа — растет, и концы ее веток при каждом порыве ветра касаются воды.

Я тоже сажусь у самой воды и рассеянным глазом замечаю, что на всем пространстве под ивой река покрыта, как зеленым ковром, мелкой плавучей травой — ряской.

— Видишь? — таинственно спрашивает Михаил Михайлович. — Вот тебе первая сказка — про ряски: сколько их, и все разные; маленькие, а какие проворные... Собрались в большой зеленый стол возле ивы, и накопились здесь, и за иву все держатся. Течение отрывает кусочки, дробит их, и они, зелененькие, плывут, но другие пристают и накаплиются. Так вырастает зеленый стол. И на этом столе располагаются жить ракушки-башмачки. Но и башмачки здесь не одни, приглядишься: здесь собралось большое общество! Вон наездники — комары высокие. Где течение посильней, они стоят прямо на чистой воде, как на

стеклянном полу стоят, расставили свои длинные ноги и несутся себе вниз вместе с водяной струей.

— Вода возле них часто искрится — отчего бы это?

— Наездники волну поднимают — это солнце играет в их мелкой волне.

— Велика ли волна от наездников?

— А их тысячи! Когда смотришь на их передвижение против солнца, то вся вода играет и покрывается от волны мелкими звездочками.

— А под рясками-то внизу что делается! — воскликнула я.

Там в воде сновали полчища крохотных мальков, доставая себе что-то полезное из-под рясок.

Тут я заметила на зеленом столе оконца вроде прорубей.

— Откуда они?

— Ты бы сама догадалась, — ответил мне Михаил Михайлович. — Это крупная рыба нос высунула — вот и остались оконца.

Мы простились со всем обществом под ивой, отправились дальше и скоро вышли на трясину — так называются у нас тростниковые заросли на зыбком месте, на болоте.

Туман уже поднялся над рекой, и показались мокрые сверкающие штыки тростников. В тишине на солнечном свете они стояли неподвижно.

Михаил Михайлович меня остановил и сказал шепотом:

— Замри теперь, и смотри на тростники, и жди событий.

Так мы стояли, время текло, и ничего не происходило...

Но вот одна тростинка шевельнулась, кто-то ее толкнул, и другая рядом, и еще, и пошло, и пошло...

— Что бы это было наверху? — спросила я. — Ветер, стрекоза?

— «Стрекоза»! — укоризненно посмотрел на меня Михаил Михайлович. — Это шмель тяжелый шевелит каждым цветком, а голубая стрекоза — только она может так сесть на водяную тростинку, что та и не шевельнется!

— Так что же это?

— Не ветер, не стрекоза — это была щука! — с торжеством открывает мне секрет Михаил Михайлович. — Я заметил, как она увидала нас и шарахнулась с такой силой, что было слышно, как стучала по тростникам, и видно, как наверху они шевелились по ходу рыбы. Но это были какие-то мгновенья, и ты их пропустила!

Мы шли теперь самыми глухими местами нашей трясницы. Вдруг мы услышали крики, похожие отдаленно на звуки труб.

— Это журавли трубят, поднимаясь с ночевки, — сказал Михаил Михайлович.

Скоро мы их увидали, они летели над нами парой, низко и тяжело, над самыми тростниками, словно совершали какое-то большое трудное дело.

— Мечутся, трудятся — гнезда стеречь, птенцов кормить, враги повсюду... Вот зато и летят тяжело, а все-таки летят! Трудная жизнь у птицы, — задумчиво сказал Михаил Михайлович. — Я это понял, когда встретился раз с самим Хозяином тростников.

— С водяным? — покосилась я на Михаила Михайловича.

— Нет, это сказка про правду, — ответил он очень серьезно. — Она у меня записана. Он вынул записную книжечку и стал читать глуховато, неторопливо, с остановками и раздумьями на паузах, как один только он умел читать свои записи и рассказы. Он читал, будто беседовал сам с собой.

Встреча с Хозяином тростников

Он, потихоньку ступая, раздвинул тростники и выглянул в открытое болото... Я увидел перед собой в десяти шагах отвесно стоявшую среди тростников длинную шею журавля. Он, ожидая увидеть самое большое лисицу, посмотрел на меня, как если бы я посмотрел на тигра, смешался, спохватился, побежал, замахал и, наконец, медленно поднялся на воздух». Трудная жизнь, — повторил Михаил Михайлович и спрятал свою книжку в карман. В это время опять трубанули журавли, и тут, пока мы слушали, а журавли трубили, перед нашими глазами шевельнулись тростники и любопытная водяная курочка вышла к воде и прислушалась, нас не замечая. Журавли еще крикнули, и она, маленькая, тоже крикнула по-своему...

— Я впервые понял этот звук! — сказал мне Михаил Михайлович, когда курочка исчезла в тростниках. — Она, маленькая, хотела крикнуть тоже как журавли, только для того хотела крикнуть, чтобы лучше солнце прославить. Ты заметь — на восходе все, кто как умеет, славят солнце!

Снова раздался знакомый трубный звук, но какой-то отдаленный.

— Это не наши, это на другом болоте гнездовые журавли, — сказал Михаил Михайлович. — Когда издали кричат, всегда кажется, будто у них там как-то совсем не по-нашему хорошо, интересно, и хочется поскорее к ним пойти поглядеть!

— Может, для того и наши к тем полетели? — спросила я.

Но на этот раз Михаил Михайлович ничего мне не ответил.

После мы долго шли и больше ничего с нами не случилось.

Правда, еще один раз над нами показались в полете длинноногие крупные птицы, я узнала: это были цапли. Видно было по их полету — они не из здешнего болота: они летели откуда-то издалека, высоко, деловито, стремительно и всё прямо, прямо...

— Будто какие межевики воздушные взялись пополам весь земной шар разделить, — сказал Михаил Михайлович и долго следил за их полетом, запрокинув голову и улыбаясь. Тут вскоре кончились тростники, и мы вышли на совсем высокий сухой берег над рекой, где Векса делала крутой изгиб, и в этом изгибе чистая вода на солнечном свете вся была покрыта ковром водяных лилий. Желтые во множестве раскрыли свои венчики навстречу солнцу, белые стояли в плотных бутонах.

— Я читала у тебя в книжке: «Желтые лилии раскрыты с самого восхода солнца, белые раскрываются часов в десять. Когда все белые распустятся, на реке начинается бал». Это правда, что в десять? И почему бал? Может быть, ты это придумал, как про стирку лесовика?

— Давай разведем здесь костер, вскипятим чайку и закусим, — вместо ответа сказал мне Михаил Михайлович. — А как солнце подыметя, в самый жар мы уже будем в лесу, он недалеко.

Мы натащали хворосту, веток, устроили сиденье, повесили над костром котелок... Потом Михаил Михайлович стал записывать в свою книжку, а я незаметно для себя задремала. Когда я проснулась, солнце прошло по небу уже порядочный путь. Белые лилии раскинули широко свои лепестки и, как дамы в кринолинах, танцевали на волнах с кавалерами в желтом под музыку быстро бегущей реки; волны под ними переливались на солнце тоже как музыка.

В воздухе над лилиями танцевали разноцветные стрекозы.

На берегу в траве танцевали трескунцы — кузнечики, голубые и красные, взлетающие вверх, как пожарные искры. Красных было больше, но, может быть, нам так показалось от жарких солнечных бликов в глазах.

Все двигалось, переливалось вокруг нас и благоухало.

Михаил Михайлович молча протянул мне часы: на них было половина одиннадцатого.

— Открытие бала ты проспала! — сказал он.

Жара нам была уже не страшна: мы вошли в лес и углубились по дороге. Она давным-давно когда-то была уложена кругляком: это люди сделали для подвоза дров к сплавной речке.

Они вырыли две канавы, наложили между ними тонких стволов деревьев один к одному, как паркет. Потом дрова вывезли, а дорогу забыли. И лежит себе круглячок годами, гниет...

Теперь по осушенным бровкам встал высокий красавец иван-чай и тоже высокая пышная красавица медуница. Мы шли осторожно, чтоб их не помять.

Вдруг Михаил Михайлович схватил меня за руку и сделал знак молчания: шагах в двадцати от нас по теплomu круглячку между иван-чаем и медуницей разгуливала большая птица в переливчато-темном оперенье с ярко-красными бровями. Это был глухарь. Он темной тучей поднялся в воздух и с шумом скрылся между деревьями. В полете он показался мне огромным.

— Глухариная аллея! Делали для дров, а пригодилось птицам, — сказал Михаил Михайлович.

С тех пор мы так и зовем эту лесную дорогу на Хмельники «глухариной аллеей».

Еще нам попались на ней два забытых кем-то штабеля березовых дров. От времени штабели стали подгнивать и кланяться друг другу, несмотря на распорки, между ними когда-то поставленные... А рядом гнили их пни. Эти пни напоминали нам, что когда-то росли дрова прекрасными деревьями. Но вот пришли люди, срубили и забыли, и гниют теперь бесполезно и деревья и пни...

— Может быть, война помешала вывезти? — спросила я.

— Нет, это случилось много раньше. Еще какая-то другая беда людям помешала, — ответил Михаил Михайлович.

Мы с невольным сочувствием смотрели на штабели.

— Стоят они теперь сами будто люди, — сказал Михаил Михайлович, — склонились висками друг к другу...

Между тем вокруг штабелей кипела уже новая жизнь: внизу паутинками соединили их пауки и по распоркам перебежали трясогузки...

— Посмотри, — сказал Михаил Михайлович, — между ними растет молодой березовый подлесок. Он успел перешагнуть их высоту! Знаешь, откуда у этих молодых березок такая

сила роста? — спросил он меня и сам ответил: — Это березовые дрова, сгнивая, дают вокруг себя такую буйную силу. Так вот, — заключил он, — дрова вышли из леса и в лес возвращаются.

И мы весело простились с лесом, выходя к деревне, куда держали свой путь.

На этом бы и можно закончить свой рассказ о нашем походе в то утро. Только еще несколько слов об одной березке: мы заметили ее, подходя к деревне, — молодую, в рост человека, похожую на девочку в зеленом платье. На головке ее был один желтый лист, хотя еще стояла середина лета.

Михаил Михайлович посмотрел на березку и что-то записал в книжку.

— Что ты записал?

Он мне прочел:

— «Видел Снегурочку в лесу: одна сережка у нее из золотого листика, а другая еще зеленая».

И это был в тот раз его последний мне подарок.

Писателем Пришвин сделался так: в молодые годы — давно это было, полвека назад, — он обошел пешком весь Север с охотничьим ружьем за плечами и написал об этом своем путешествии книжку. Был тогда наш Север диким, людей было там мало, птицы и звери жили, не пуганные человеком. Так и назвал он свою первую книжку — «В краю непуганых птиц». На северных озерах тогда плавали дикие лебеди. А когда много лет спустя Пришвин снова приехал на Север, знакомые озера были соединены Беломорским каналом, и по ним уже не лебеди плавали, а наши советские пароходы; много за долгую жизнь видел Пришвин на родине своей перемен.

Есть одна старинная сказка, она начинается так: «Бабушка взяла крылышко, по коробу поскребла, по сусеку помела, набрала муки пригоршни две и сделала веселый колобок. Он полежал-полежал, да вдруг и покатился — с окна на лавку, с лавки на пол, по полу да к дверям, перепрыгнул через порог в сени, из сеней на крыльцо, с крыльца во двор да за ворота — дальше, дальше...»

Михаил Михайлович к этой сказке приделал свой конец, будто за этим колобком сам он, Пришвин, пошел по белу свету, по лесным тропам и берегам рек, и моря, и океана — все шел и шел за колобком. Так и новую книжку свою он назвал — «Колобок». Впоследствии тот же волшебный колобок привел писателя на юг, в азиатские степи, и на Дальний Восток. О степях есть у Пришвина повесть «Черный Араб», о Дальнем Востоке — повесть «Жень-Шень». Эта повесть переведена на все основные языки народов земного шара.

Из края в край обежал колобок нашу богатую родину и, когда все осмотрел, стал кружиться возле Москвы, по берегам маленьких речек — тут была и какая-то речка Вертушинка, и Невестинка, и Сестра, и какие-то безымянные озера, названные Пришвиным «глазами земли». Тут-то, в этих близких нам всем местах, колобок открыл своему другу, пожалуй, еще больше чудес.

О среднерусской природе широко известны его книги: «Календарь природы», «Лесная капель», «Глаза земли».

Михаил Михайлович не только детский писатель — книги свои он писал для всех, но с одинаковым интересом читают их и дети. Писал он только о том, что сам видел и сам

пережил в природе.

Так, например, чтобы описать, как происходит весенний разлив рек, Михаил Михайлович строит себе из обыкновенного грузовика фанерный домик на колесах, берет с собой резиновую складную лодку, ружье и все, что нужно для одинокой жизни в лесу, отправляется на места разлива реки нашей — Волги и там наблюдает, как спасаются от заливающей сушу воды самые крупные звери — лоси и самые маленькие — водяные крысы и землеройки.

Так проходят дни: за костром, охотой, с удочкой, фотоаппаратом. Весна движется, земля начинает обсыхать, показывается трава, деревья зеленеют. Проходит лето, потом осень, наконец летят белые мухи, и мороз начинает мостить дорогу в обратный путь. Тогда Михаил Михайлович возвращается к нам с новыми рассказами.

Все мы знаем и деревья в наших лесах, и цветы на лугах, и птиц, и разных зверушек. Но Пришвин поглядел на них своим особым зорким глазом и увидал такое, что нам и невдомек. «Оттого лес называется темным, — пишет Пришвин, — что солнце смотрит в него, как сквозь узкое оконце, и не все видит, что совершается в лесу».

Даже солнце не все замечает! А художник узнаёт тайны природы и радуется, их открывая. Вот он нашел в лесу удивительную берестяную трубочку, в которой оказалась кладовая какого-то трудолюбивого зверька.

Вот он побывал на именинах осинки — и мы подышали вместе с ним радостью весеннего расцвета.

Вот он подслушал песню совсем незаметной маленькой птички на самом верхнем пальчике елки — теперь он знает, о чем они все свистят, шепчутся, шелестят и поют!

Так катится и катится колобок по земле, сказочник идет за своим колобком, и мы идем вместе с ним и узнаём бесчисленных маленьких родственников в нашем общем Доме природы, учимся любить свою родную землю и понимать ее красоту.

В. Пришвина

Кладовая солнца

Сказка-быль

Мы жили в этом селе всего только через один дом от детей. И, конечно, мы тоже вместе с другими соседями старались помочь им, чем только могли. Они были очень милые. Настя была, как золотая Курочка на высоких ножках. Волосы у нее, ни темные, ни светлые, отливали золотом, веснушки по всему лицу были крупные, как золотые монетки, и частые, и тесно им было, и лезли они во все стороны. Только носик один был чистенький и глядел вверх.

Митраша был моложе сестры на два года. Ему было всего только десять лет с хвостиком. Он был коротенький, но очень плотный, лобастый, затылок широкий. Это был мальчик упрямый и сильный.

«Мужичок в мешочке», улыбаясь, называли его между собой учителя в школе.

Мужичок в мешочке, как и Настя, был весь в золотых веснушках, а носик его, чистенький тоже, как у сестры, глядел вверх.

После родителей все их крестьянское хозяйство досталось детям: изба пятистенная, корова Зорька, телушка Дочка, коза Дереза. Безыменные овцы, куры, золотой петух Петя и поросенок Хрен.

Вместе с этим богатством досталось, однако, детишкам бедным и большая забота о всех живых существах. Но с такой ли бедой справлялись наши дети в тяжкие годы Отечественной войны! Вначале, как мы уже говорили, к детям приходили помогать их дальние родственники и все мы, соседи. Но очень что-то скоро умненькие и дружные ребята сами всему научились и стали жить хорошо.

И какие это были умные детишки! Если только возможно было, они присоединялись к общественной работе. Их носики можно было видеть на колхозных полях, на лугах, на скотном дворе, на собраниях, в противотанковых рвах: носики такие зазорные.

В этом селе мы, хотя и приезжие люди, знали хорошо жизнь каждого дома. И теперь можем сказать: не было ни одного дома, где бы жили и работали так дружно, как жили наши любимцы.

Точно так же, как и покойная мать, Настя вставала далеко до солнца, в предрассветный час, по трубе пастуха. С хворостиной в руке выгоняла она свое любимое стадо и катилась обратно в избу. Не ложась уже больше спать, она растопляла печь, чистила картошку, заправляла обед, и так хлопотала по хозяйству до ночи.

[1]

При корове двум детям не было такой уж нужды, чтобы продавать на рынке деревянную посуду, но добрые люди просят, кому шайку на умывальник, кому нужен под капли бочонок, кому кадушечка солить огурцы или грибы, или даже простую посудинку с зубчиками — домашний цветок посадить.

Сделает, и потом ему тоже оплатят добром. Но, кроме бондарства, на нем лежит и все мужское хозяйство и общественное дело. Он бывает на всех собраниях, старается понять общественные заботы и, наверно, что-то смекает.

Очень хорошо, что Настя постарше брата на два года, а то бы он непременно зазнался и в дружбе у них не было бы, как теперь, прекрасного равенства. Бывает, и теперь Митраша вспомнит, как отец наставлял его мать, и вздумает, подражая отцу, тоже учить свою сестру

Настю. Но сестренка мало слушается, стоит и улыбается. Тогда «Мужичок в мешочке» начинает злиться и хорохориться и всегда говорит, задрав нос:

— Вот еще!

— Да чего ты хорохоришься? — возражает сестра.

— Вот еще! — сердится брат. — Ты, Настя, сама хорохоришься.

— Нет, это ты!

— Вот еще!

Так, помучив строптивного брата, Настя оглаживает его по затылку. И как только маленькая ручка сестры коснется широкого затылка брата, отцовский задор покидает хозяина.

— Давай-ка вместе полоть! — скажет сестра.

И брат тоже начинает полоть огурцы, или свеклу мотыжить, или картошку окучивать.

Да, очень, очень трудно было всем во время Отечественной войны, так трудно, что, наверно, и на всем свете так никогда не бывало. Вот и детям пришлось хлебнуть много всяких забот, неудач, огорчений. Но их дружба перемогла все, они жили хорошо. И мы опять можем твердо сказать: во всем селе ни у кого не было такой дружбы, как жили между собой Митраша и Настя Веселкины. И думаем, наверное, это горе о родителях так тесно соединило сирот.

II

сладкая

и

— Всю жизнь ты ходишь по лесу, и тебе лес известен весь, как ладонь. Зачем же тебе еще нужна эта стрелка?

— Видишь, Дмитрий Павлович, — отвечал отец, — в лесу эта стрелка тебе добрей матери: бывает, небо закроется тучами, и по солнцу в лесу ты определиться не можешь, пойдешь наугад — ошибешься, заблудишься, заголодаешь. Вот тогда взгляни только на стрелку, и она укажет тебе, где твой дом. Пойдешь прямо по стрелке домой, и тебя там покормят. Стрелка эта тебе верней друга: бывает, друг твой изменит тебе, а стрелка неизменно всегда, как ее ни верти, все на север глядит.

Осмотрев чудесную вещь, Митраша запер компас, чтобы стрелка в пути зря не дрожала. Он хорошо, по-отцовски, обернул вокруг ног портянки, вправил в сапоги, картузик надел такой старый, что козырек его разделился надвое: верхняя корочка задралась выше солнца, а нижняя спускалась почти до самого носика. Оделся же Митраша в отцовскую старую куртку, вернее же в воротник, соединяющий полосы когда-то хорошей домотканной материи. На животике своем мальчик связал эти полосы кушаком, и отцовская куртка села на нем, как пальто, до самой земли. Еще сын охотника заткнул за пояс топор, сумку с компасом повесил на правое плечо, двустольную «Тулку» — на левое и так сделался ужасно страшным для всех птиц и зверей.

Настя, начиная собираться, повесила себе через плечо на полотенце большую корзину.

— Зачем тебе полотенце? — спросил Митраша.

— А как же, — ответила Настя, — ты разве не помнишь, как мама за грибами ходила?

— За грибами! Много ты понимаешь: грибов бывает много, так плечо режет.

— А клюквы, может быть, у нас еще больше будет.

И только хотел сказать Митраша свое «вот еще», вспомнилось ему, как отец о клюкве сказал, еще когда собирали его на войну.

[2]

[3]

— Вот там, возле елани, и есть палестинка, — сказал Митраша. — Отец говорил: идите на Высокую гриву и после того держите на север и, когда перевалите через Звонкую борину, держите все прямо на север и увидите — там придет вам палестинка, вся красная, как кровь, от одной только клюквы. На этой палестинке еще никто не бывал!

Митраша говорил это уже в дверях. Настя во время рассказа вспомнила: у нее от вчерашнего дня остался целый, нетронутый чугунок вареной картошки. Забыв о палестинке, она тихонечко шмыгнула к загнетке и опрокинула в корзинку весь чугунок.

«Может быть, еще и заблудимся, — подумала она. — Хлеба у нас взято довольно, есть бутылка молока, и картошка, может быть, тоже пригодится».

А брат в это время, думая, что сестра все стоит за его спиной, рассказывал ей о чудесной палестинке и что, правда, на пути к ней Слепая елань, где много погибло и людей, и коров, и коней.

— Ну, так что это за палестинка? — спросила Настя.

— Так ты ничего не слыхала?! — схватился он.

И терпеливо повторил ей уже на ходу все, что слышал от отца о не известной никому палестинке, где растёт сладкая клюква.

III

приболотицу

Еще не доходя до Звонкой борины, почти возле самой тропы, стали показываться отдельные кроваво-красные ягоды. Охотники за клюквой поначалу клали эти ягоды в рот. Кто не пробовал в жизни своей осеннюю клюкву и сразу бы хватил весенней, у него бы дух захватило от кислоты. Но деревенские сироты знали хорошо, что такое осенняя клюква, и оттого когда теперь ели весеннюю, то повторяли:

— Какая сладкая!

Борина Звонкая охотно открыла детям свою широкую просеку, покрытую и теперь, в апреле, темно-зеленой брусничной травой. Среди этой зелени прошлого года кое-где виднелись новые цветочки белого подснежника и лиловые, мелкие и ароматные цветочки волчьего лыка.

— Они хорошо пахнут, попробуй сорви цветочек волчьего лыка, — сказал Митраша.

Настя попробовала надломить прутик стебелька и никак не могла.

— А почему это лыко называется волчьим? — спросила она.

— Отец говорил, — ответил брат, — волки из него себе корзинки плетут.

И засмеялся.

— А разве тут есть еще волки?

— Ну, как же! Отец говорил, тут есть страшный волк, Серый помещик.

— Помню: тот самый, что порезал перед войной наше стадо.

— Отец говорил: он живет на Сухой речке, в завалах.

— Нас с тобой он не тронет?

— Пусть попробует! — ответил охотник с двойным козырьком.

Пока дети так говорили и утро подвигалось все больше к рассвету, борина Звонкая наполнилась птичьими песнями, воем, стоном и криком зверьков. Не все они были тут, на борине, но с болота, сырого, глухого, все звуки собирались сюда. Борина с лесом, сосновым и звонким на суходоле, отзывалась всему.

Но бедные птички и зверушки, как мучились все они, стараясь выговорить какое-то общее всем, единое прекрасное слово! И даже дети, такие простые, как Настя и Митраша, понимали их усилие. Им всем хотелось сказать одно только какое-то слово прекрасное.

Видно, как птица поет на сучке, и каждое перышко дрожит у нее от усилия. Но все-таки слова, как мы, они сказать не могут, и им приходится выпевать, выкрикивать, выстукивать.

— Тэк-тэк! — чуть слышно постукивает огромная птица Глухарь в темном лесу.

— Шварк-шварк! — Дикий Селезень в воздухе пролетел над речкой.

— Кряк-кряк! — дикая утка Кряква на озере.

— Гу-гу-гу! — красивая птичка Снегирь на березе.

Бекас, небольшая серая птичка с носом, длинным, как сплюснутая шпилька, раскатывается в воздухе диким барашком. Вроде как бы «жив, жив!» кричит кулик Кроншнеп. Тетерев там где-то бормочет и чуфыкает Белая Куропатка, как будто ведьма, хохочет.

Мы, охотники, давно, с детства своего, и различаем, и радуемся, и хорошо понимаем, над каким словом все они трудятся и не могут сказать. Вот почему мы, когда придем в лес ранней весной на рассвете и услышим, так и скажем им, как людям, это слово:

— Здравствуйте!

И как будто они тогда тоже обрадуются, как будто они тогда тоже подхватят чудесное слово, слетевшее с языка человеческого.

И закрикают в ответ, и зачуфыкают, и затэтэкают, и зашваркают, стараясь всеми голосами своими ответить нам:

— Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте!

Но вот среди всех этих звуков вырвался один, ни на что не похожий.

— Ты слышишь? — спросил Митраша.

— Как же не слышать! — ответила Настя. — Давно слышу, и как-то страшно.

— Ничего нет страшного! Мне отец говорил и показывал: это так весной заяц кричит.

— А зачем?

— Отец говорил: он кричит «Здравствуй, зайчиха!»

— А это что ухает?

— Отец говорил, это ухает Выпь, бык водяной.

— И чего он ухает?

— Отец говорил, у него есть тоже своя подруга, и он ей по-своему тоже так говорит, как и все: «Здравствуй, Выпиха».

И вдруг стало свежо и бодро, как будто вся земля сразу умылась, и небо засветилось, и все деревья запахло корой своей и почками. Вот тогда как будто над всеми звуками вырвался, вылетел и все покрыл особый, торжествующий крик, похожий, как если бы все люди радостно в стройном согласии могли закричать:

— Победа, победа!

— Что это? — спросила обрадованная Настя.

— Отец говорил, это так журавли солнце встречают. Это значит, что скоро солнце взойдет. Но солнце еще не взошло, когда охотники за сладкой клюквой спустились в большое болото. Тут еще совсем и не начиналось торжество встречи солнца. Над маленькими корявыми елочками и березками серой мглой висело ночное одеяло и глушило все чудесные звуки Звонкой борины. Только слышался тут тягостный, щемящий и нерадостный вой.

Настенька вся сжалась от холода, и в болотной сырости пахнул на нее резкий, одуряющий запах багульника. Маленькой и слабой почувствовала себя Золотая Курочка на высоких ножках перед этой какой-то неминуемой силой гибели.

— Что это, Митраша, — спросила Настенька, ежась, — так страшно воет вдали?

— Отец говорил, — ответил Митраша, — это воют на Сухой речке волки, и, наверно, сейчас это воет волк Серый помещик. Отец говорил, что все волки на Сухой речке убиты, но Серого убить невозможно.

— Так отчего же он страшно воет теперь?

— Отец говорил, волки воют весной оттого, что им есть теперь нечего. А Серый еще остался один, вот и воет.

Болотная сырость, казалось, проникала сквозь тело к костям и студила их. И так не хотелось еще ниже спускаться в сырое, топкое болото!

— Мы куда же пойдем? — спросила Настя.

Митраша вынул компас, установил север и, указывая на более слабую тропу, идущую на север, сказал:

— Мы пойдем на север по этой тропе.

— Нет, — ответила Настя, — мы пойдем вот по этой большой тропе, куда все люди идут.

Отец нам рассказывал, помнишь, какое это страшное место — Слепая елань, сколько погибло в нем людей и скота. Нет, нет, Митрашенька, не пойдем туда. Все идут в эту сторону, значит там и клюква растет.

— Много ты понимаешь! — оборвал ее охотник — Мы пойдем на север, как отец говорил, там есть палестинка, где еще никто не бывал.

Настя, заметив, что брат начинает сердиться, вдруг улыбнулась и погладила его по затылку. Митраша сразу успокоился, и друзья пошли по тропе, указанной стрелкой, теперь уже не рядом, как раньше, а друг за другом, гуськом.

IV

Сюда, к Лежачему камню, пришли дети в то самое время, когда первые лучи солнца, пролетев над низенькими корявыми болотными елочками и березками, осветили Звонкую борину и могучие стволы соснового бора стали как зажженные свечи великого храма природы. Оттуда сюда, к этому плоскому камню, где сели отдохнуть дети, слабо долетало пение птиц, посвященное восходу великого солнца. И светлые лучи, пролетающие над головами детей, еще не грели. Болотная земля была вся в ознобе, мелкие лужицы покрылись белым ледком.

Было совсем тихо в природе, и дети, озябшие, до того были тихи, что тетерев Косач не обратил на них никакого внимания. Он сел на самом верху, где сук сосны и сук ели сложились как мостик между двумя деревьями. Устроившись на этом мостике, для него довольно широко, ближе к ели, Косач как будто стал расцветать в лучах восходящего солнца. На голове его гребешок загорелся огненным цветком. Синяя в глубине черного грудь его стала переливать из синего на зеленое. И особенно красив стал его радужный, раскнутый лирой хвост. Завидев солнце над болотными жалкими елочками, он вдруг подпрыгнул на своем высоком мостике, показал свое белое чистейшее белье подхвостья, подкрылья и крикнул:

— Чуф! Ши!

По-тетеревиному «чуф», скорее всего, значило «солнце», а «ши», вероятно, было у них наше «здравствуй».

В ответ на это первое чуфыканье Косача-токовика далеко по всему болоту раздалось такое же чуфыканье с хлопаньем крыльев, и вскоре со всех сторон сюда стали прилетать и садиться вблизи Лежачего камня десятки больших птиц, как две капли воды похожих на Косача.

Затаив дыхание сидели дети на холодном камне, дожидаясь, когда и к ним придут лучи солнца и обогреют их хоть немного. И вот первый луч, скользя по верхушкам ближайших, очень маленьких елочек, наконец-то заиграл на щеках у детей. Тогда верхний Косач, приветствуя солнце, перестал подпрыгивать и чуфыкать. Он присел низко на мостике у вершины елки, вытянул свою длинную шею вдоль сука и завел долгую, похожую на журчание ручейка песню. В ответ ему тут где-то вблизи сидящие на земле десятки таких же птиц, тоже каждый петух, вытянув шею, затаили ту же самую песню. И тогда как будто довольно уже большой ручей с бормотаньем побежал по невидимым камешкам.

Сколько раз мы, охотники, выждав темное утро, на зябкой заре с трепетом слушали это пение, стараясь по-своему понять, о чем поют петухи. И когда мы по-своему повторяли их бормотанья, то у нас выходило:

Круты перья,

Ур-гур-гу,

Круты перья,

Обор-ву, оборву.

Так бормотали дружно тетерева, собираясь в то же время подраться. И когда они так бормотали, случилось небольшое событие в глубине еловой густой кроны. Там сидела на гнезде ворона и все время таилась там от Косача, токующего почти возле самого гнезда.

Ворона очень бы желала прогнать Косача, но она боялась оставить гнездо и остудить на утреннем морозе яйца. Стерегающий гнездо ворона-самец в это время делал свой облет и, наверно, встретив что-нибудь подозрительное, задержался. Ворона в ожидании самца залегла в гнезде, была тише воды, ниже травы. И вдруг, увидев летящего обратно самца, крикнула свое:

— Кра!

Это значило у нее:

«Выручай!»

— Кра! — ответил самец в сторону тока, в том смысле, что еще неизвестно, кто кому оборвет круты перья.

Самец, сразу поняв, в чем тут дело, спустился и сел на тот же мостик, возле елки, у самого гнезда, где Косач токовал, только поближе к сосне, и стал выжидать.

Косач в это время, не обращая на самца вороны никакого внимания, выкликнул свое, известное всем охотникам:

— Кар-кер-кекс!

И это было сигналом ко всеобщей драке всех токующих петухов. Ну и полетели во все-то стороны круты перья! И тут, как будто по тому же сигналу, ворона-самец мелкими шагами по мостику незаметно стал подбираться к Косачу.

Неподвижные, как изваяния, сидели на камне охотники за сладкой клюквой. Солнце, такое горячее и чистое, вышло против них над болотными елочками. Но случилось на небе в это время одно облако. Оно явилось как холодная синяя стрелка и пересекло собой пополам восходящее солнце. В то же время вдруг ветер рванул, елка нажала на сосну, и сосна простонала. Ветер рванул еще раз, и тогда нажала сосна, и ель зарычала.

В это время, отдохнув на камне и согревшись в лучах солнца, Настя с Митрашей встали, чтобы продолжать дальше свой путь. Но у самого камня довольно широкая болотная тропа расходилась вилкой: одна, хорошая, плотная, тропа шла направо, другая, слабенькая, — прямо.

Проверив по компасу направление троп, Митраша, указывая на слабую тропу, сказал:

— Нам надо по этой на север.

— Это не тропа! — ответила Настя.

— Вот еще! — рассердился Митраша. — Люди шли, — значит, тропа. Нам надо на север. Идем, и не разговаривай больше.

Насте было обидно подчиниться младшему Митраше.

— Кра! — крикнула в это время ворона в гнезде.

И ее самец мелкими шажками перебежал ближе к Косачу на полмостика.

Вторая круто-синяя стрелка пересекла солнце, и сверху стала надвигаться серая хмарь. Золотая Курочка собралась с силами и попробовала уговорить своего друга.

— Смотри, — сказала она, — какая плотная моя тропа, тут все люди ходят. Неужели мы умней всех?

— Пусть ходят все люди, — решительно ответил упрямый Мужичок в мешочке. — Мы должны идти по стрелке, как отец нас учил, на север, к палестинке.

— Отец нам сказки рассказывал, он шутил с нами, — сказала Настя, — и, наверно, на севере вовсе и нет никакой палестинки. Очень даже будет глупо нам по стрелке идти — как раз не на палестинку, а в самую Слепую елань угодим.

— Ну ладно, — резко повернул Митраша, — я с тобой больше спорить не буду: ты иди по своей тропе, куда все бабы ходят за клюквой, я же пойду сам по себе, по своей тропке, на север.

И в самом деле пошел туда, не подумав ни о корзине для клюквы, ни о пище.

Насте бы надо было об этом напомнить ему, но она так сама рассердилась, что, вся красная, как кумач, плюнула вслед ему и пошла за клюквой по общей тропе.

— Кра! — закричала ворона.

И самец быстро перебежал по мостику остальной путь до Косача и со всей силой долбанул его. Как ошпаренный метнулся Косач к улетающим тетеревам, но разгневанный самец догнал его, вырвал, пустил по воздуху пучок белых и радужных перышек и погнал и погнал далеко.

Тогда серая хмарь плотно надвинулась и закрыла все солнце, со всеми его живительными лучами. Злой ветер очень резко рванул. Сплетенные корнями деревья, прокалывая друг друга сучьями, на все Блудово болото зарычали, завывали, застонали.

V

Среди звуков стога, рычания, ворчания, воя в это утро у деревьев иногда выходило так, будто где-то горько плакал в лесу потерянный или покинутый ребенок.

Вот этот плач и не могла выносить Травка и, заслышав его, вылезала из ямы в ночь и в полночь. Этот плач сплетенных навеки деревьев не могла выносить собака: деревья животному напоминали о его собственном горе. Уже целых два года прошло, как случилось ужасное несчастье в жизни Травки: умер обожаемый ею лесник, старый охотник Антипыч. Мы с давних лет ездили к этому Антипычу на охоту, и старик, думается, сам позабыл, сколько ему было лет, все жил, жил в своей лесной сторожке, и казалось — он никогда не умрет.

— Сколько тебе лет, Антипыч? — спрашивали мы. — Восемьдесят?

— Мало, — отвечал он.

— Сто?

— Много.

Думая, что он это шутит с нами, а сам хорошо знает, мы спрашивали:

— Антипыч, ну брось свои шутки, скажи нам по правде: сколько же тебе лет?

— По правде, — отвечал старик, — я вам скажу, если вы вперед скажете мне, что есть правда, какая она, где живет и как ее найти.

Трудно было ответить нам.

— Ты, Антипыч, старше нас, — говорили мы, — и ты, наверное, сам лучше нас знаешь, где правда.

— Знаю, — усмехался Антипыч.

— Ну скажи.

— Нет, пока жив я, сказать не могу, вы сами ищите. Ну, а как умирать буду, приезжайте: я вам тогда на ушко перешепну всю правду. Приезжайте!

— Хорошо, приедем. А вдруг не угадаем, когда надо, и ты без нас помрешь?

Дедушка прищурился по-своему, как он всегда щурился, когда хотел посмеяться и пошутить.

— Деточки вы, — сказал он, — не маленькие, пора бы самим знать, а вы всё спрашиваете. Ну ладно уж, когда помирать соберусь и вас тут не будет, я Травке своей перешепну.

Травка! — позвал он.

В хату вошла большая рыжая собака с черным ремешком по всей спине. У нее под глазами были черные полосы с загибом вроде очков. И от этого глаза казались очень большими, и ими она спрашивала:

«Зачем позвал меня, хозяин?»

Антипыч как-то особенно поглядел на нее, и собака сразу поняла человека: он звал ее по приятельству, по дружбе, ни для чего, а просто так, пошутить, поиграть... Травка замахала хвостом, стала снижаться на ногах, все ниже и ниже, и, когда подползла так к коленям старика, легла на спину и повернула вверх светлый живот с шестью парами черных сосков. Антипыч только руку протянул было, чтобы погладить ее, она как вдруг вскочит — и лапами на плечи, и чмок и чмок его: и в нос, и в щеки, и в самые губы.

— Ну, будет, будет, — сказал он, успокаивая собаку и вытирая лицо рукавом.

Погладил ее по голове и сказал:

— Ну, будет, теперь ступай к себе.

Травка повернулась и вышла на двор.

— То-то, ребята, — сказал Антипыч, — вот Травка, собака гончая, с одного слова все понимает, а вы, глупенькие, спрашиваете, где правда живет. Ладно же, приезжайте. А упустите меня, Травке я все перешепну.

И вот умер Антипыч. Вскоре началась Великая Отечественная война. Другого сторожа на место Антипыча не назначили и сторожку его бросили. Очень ветхий был домик, старше много самого Антипыча, и держался уже на подпорках. Как-то раз без хозяина ветер поиграл с домиком, и он сразу весь развалился, как разваливается картонный домик от одного дыхания младенца. В один год высокая трава Иван-чай проросла через бревнушки, и от всей избушки остался на лесной поляне холмик, покрытый красными цветами. А Травка переселилась в картофельную яму и стала жить в лесу, как и всякий зверь.

Только очень трудно было Травке привыкать к дикой жизни. Она гоняла зверей для Антипыча, своего великого и милостивого хозяина, но не для себя. Много раз случилось ей на гону поймать зайца. Подмяв его под себя, она ложилась и ждала, когда Антипыч придет, и, часто вовсе голодная, не позволяла себе есть зайца. Даже если Антипыч почему-нибудь не приходил, она брала зайца в зубы, высоко задирала голову, чтобы он не болтался, и тащила домой. Так она и работала на Антипыча, но не на себя. Хозяин любил ее, кормил и берег от волков. А теперь, когда умер Антипыч, ей нужно было, как и всякому дикому зверю, жить для себя. Случалось, не один раз на жарком гону она забывала, что гонит зайца только для того, чтобы поймать его и съесть. До того забывалась Травка на такой охоте, что, поймав зайца, тащила его к Антипычу и тут иногда, услышав стон деревьев, взбиралась на холм, бывший когда-то избушкой, и выла, и выла...

К этому вою давно уже прислушивается волк, Серый помещик...

VI

Ночью, забравшись в Блудово болото, мы были по-волчьи и так вызвали ответный вой всех волков на Сухой речке. И так мы точно узнали, где они живут и сколько их. Они жили в самых непроходимых завалах Сухой речки. Тут давным-давно вода боролась с деревьями за свою свободу, а деревья должны были закреплять берега. Вода победила, деревья попадали, а после того и сама вода разбежалась в болоте.

Многими ярусами были навалены деревья и гнили. Сквозь деревья пробилась трава, лианы плюща завили частые молодые осинки. И так создалось крепкое место, или даже, можно сказать, по-нашему, по-охотничьи, волчья крепость.

Определив место, где жили волки, мы обошли его на лыжах и по лыжнице, по кругу в три километра, развесили по кустикам на веревочке флаги, красные и пахучие. Красный цвет пугает волков и запах кумача страшит, и особенно боязливо им бывает, если ветерок, пробегая сквозь лес, там и тут шевелит этими флагами.

Сколько у нас было стрелков, столько мы сделали ворот в непрерывном кругу этих флагов. Против каждого ворот становился где-нибудь за густой елочкой стрелок. Осторожно покрикивая и постукивая палками, загонщики взбудили волков, и они сначала тихонько пошли в свою сторону. Впереди шла сама волчица, за ней — молодые переярки и сзади, в стороне, отдельно и самостоятельно, — огромный лобастый матерый волк, известный крестьянам злодей, прозванный Серым помещиком.

Волки шли очень осторожно. Загонщики нажали. Волчица пошла на рысях. И вдруг...

Стоп! Флаги!

Она повернула в другую сторону, и там тоже.

Стоп! Флаги!

Загонщики нажимали все ближе и ближе. Старая волчица потеряла волчий смысл и, ткнувшись туда-сюда, как придется, нашла себе выход и в самых воротцах была встречена выстрелом в голову всего в десятке шагов от охотника.

Волки шли очень осторожно. Загонщики нажали. Волчица пошла на рысях. И вдруг... Стоп! Флаги!

Так погибли все волки, но Серый не раз бывал в таких переделках и, услышав первые выстрелы, махнул через флаги. На прыжке в него было пущено два заряда: один оторвал ему левое ухо, другой — половину хвоста.

Волки погибли, но Серый за одно лето порезал коров и овец не меньше, чем резала их раньше целая стая. Из-за кустика можжевельника он дожидался, когда отлучатся или поснут пастухи. И, определив нужный момент, врвался в стадо и резал овец, и портил коров.

После того, схватив себе одну овцу на спину, мчал ее, прыгая с овцой через изгороди к себе, в недоступное логовище на Сухой речке. Зимой, когда стада в поле не выходили, ему очень редко приходилось ворваться в какой-нибудь скотный двор. Зимой он ловил больше собак в деревнях и питался почти только собаками. И до того обнаглел, что однажды, преследуя собаку, бегущую за санями хозяина, загнал ее в сани и вырвал ее прямо из рук хозяина.

Серый помещик сделался грозой края, и опять крестьяне приехали за нашей волчьей командой. Пять раз мы пытались его зафлажить, и все пять раз он у нас махал через флаги.

И вот теперь, ранней весной, пережив суровую зиму в страшном холоде и голоде, Серый в своем логове дожидался с нетерпением, когда же наконец придет настоящая весна и затрубит деревенский пастух.

В то утро, когда дети между собой поссорились и пошли по разным тропам, Серый лежал голодный и злой. Когда ветер замутил утро и завyli деревья возле Лежачего камня, он не выдержал и вылез из своего логова. Он стал над завалом, поднял голову, подобрал и так тощий живот, поставил единственное ухо на ветер, выпрямил половинку хвоста и завыл. Какой это жалобный вой! Но ты, прохожий человек, если услышишь и у тебя поднимется ответное чувство, не верь жалости: воет не собака, вернейший друг человека, — это волк, злейший враг его, самой злобой своей обреченный на гибель. Ты, прохожий, побереги свою жалость не для того, кто о себе воет, как волк, а для того, кто, как собака, потерявшая хозяина, воет, не зная, кому же теперь после него ей послужить.

VII

К счастью для Травки, сильный голод заставил ее прекратить свой печальный плач или, может быть, призыв к себе нового человека. Может быть, для нее, в ее собачьем понимании, Антипыч вовсе даже не умирал, а только отвернул от нее лицо свое. Может быть, она даже и так понимала, что «весь человек» — это и есть один Антипыч со множеством лиц. И если одно лицо его отвернулось, то, может быть, скоро ее позовет к себе опять тот же Антипыч, только с другим лицом, и она этому лицу будет так же верно служить, как тому...

Так-то, скорее всего, и было: Травка воем своим призывала к себе Антипыча.

И волк, услышав эту ненавистную ему собачью «молитву» о человеке, пошел туда на махах. Повой она еще каких-нибудь минут пять, и Серый схватил бы ее. Но, «помолившись» Антипычу, она почувствовала сильный голод. Она перестала звать Антипыча и пошла для себя искать заячий след.

Это было в то время года, когда ночное животное, заяц, не ложится при первом наступлении утра, чтобы весь день в страхе лежать с открытыми глазами. Весной заяц долго и при белом свете бродит открыто и смело по полям и дорогам. И вот один старый русак после ссоры детей пришел туда, где они разошлись, и тоже, как они, сел отдохнуть и прислушаться на Лежачем камне. Внезапный порыв ветра с воем деревьев испугал его, и он, прыгнув с Лежачего камня, побежал своими заячьими прыжками, бросая задние ножки вперед, прямо к месту страшной для человека Слепой елани. Он еще хорошенько не вылинял и оставлял следы не только на земле, но еще развешивал зимнюю шерсточку на кустарнике и на старой, прошлогодней высокой траве.

С тех пор как заяц на камне посидел, прошло довольно времени, но Травка сразу причуяла след русака. Ей помешали погнаться за ним следы на камне двух маленьких людей и их корзины, пахнувшей хлебом и вареной картошкой.

Так вот и стала перед Травкой задача трудная — решить, идти ли ей по следу русака на Слепую елань, куда тоже пошел след одного из маленьких людей, или же идти по человеческому следу, идущему вправо, в обход Слепой елани.

Трудный вопрос решился бы очень просто, если бы можно было понять, который из двух человечков понес с собой хлеб. Вот бы поесть этого хлебца немного и начать гон не для себя и принести зайца тому, кто даст хлеб!

Куда же идти, в какую сторону?..

скололась

Так и Травка скололась. И, как всякая гончая, в таком случае начала делать круги с высокой головой, с чутьем, направленным и вверх, и вниз, и в стороны, и с пытливым напряжением глаз.

Вдруг порыв ветра с той стороны, куда пошла Настя, мгновенно остановил быстрый ход собаки по кругу. Травка, постояв немного, даже поднялась вверх на задние лапы, как заяц... С ней было так однажды еще при жизни Антипыча. Была у лесника трудная работа в лесу по отпуску дров. Антипыч, чтобы не мешала ему Травка, привязал ее у дома. Рано утром, на рассвете, лесник ушел, но только к обеду Травка догадалась, что цепь на другом конце привязана к железному крюку на толстой веревке. Поняв это, она стала на завалинку,

поднялась на задние лапы, передними подтянула к себе веревку и к вечеру перемяла ее. Сейчас же после того с цепью на шее она пустилась в поиски Антипыча. Больше полусуток истекло времени с тех пор, как Антипыч прошел, след его простыл и потом был смыт мелким моросливым дождиком, похожим на росу. Но тишина весь день в лесу была такая, что за день ни одна струйка воздуха не переместилась и тончайшие пахучие частицы табачного дыма из трубки Антипыча провисели в неподвижном воздухе с утра и до вечера. Поняв сразу, что по следам найти невозможно Антипыча, сделав круг с высоко поднятой головой, Травка вдруг попала на табачную струю воздуха и по табаку мало-помалу, то теряя воздушный след, то опять встречаясь с ним, добралась-таки до хозяина.

Был такой случай. Теперь, когда ветер порывом сильным и резким принес в ее чутье подозрительный запах, она окаменела, выждала.

И когда ветер опять рванул, стала, как и тогда, на задние лапы по-заячьи и уверилась: хлеб и картошка были в той стороне, откуда ветер летел и куда ушел один из маленьких человечков.

Травка вернулась к Лежачему камню, сверила запах корзины на камне с тем, что ветер нанес. Потом она проверила след другого маленького человечка и тоже заячий след.

Можно догадываться, она так подумала:

«Заяц-русак пошел прямым следом на дневную лёжку, он где-нибудь тут же, недалеко, возле Слепой елани, и лег на весь день и никуда не уйдет. А тот человечек с хлебом и картошкой может уйти. Да и какое же может быть сравнение: трудиться, надрываться, гоняя для себя зайца, чтобы разорвать его и сожрать самой, или же получить кусок хлеба и ласку от руки человека и, может быть, даже найти в нем Антипыча».

Поглядев еще раз внимательно в сторону прямого следа, на Слепую елань, Травка окончательно повернулась в сторону тропы, обходящей елань с правой стороны, еще раз поднялась на задние лапы, уверясь, вильнула хвостом и рысью побежала туда.

VIII

Мы это так понимаем, что все Блудово болото, со всеми своими огромными запасами горючего торфа, есть кладовая солнца. Да, вот именно так и есть, что горячее солнце было матерью каждой травинки, каждого цветочка, каждого болотного кустика и ягодки. Всем им солнце отдавало свое тепло, и они, умирая, разлагаясь, в удобрении передавали его как наследство другим растениям, кустикам, ягодкам, цветкам и травинкам. Но в болотах вода не дает родителям-растениям передать все свое добро детям. Тысячи лет это добро под водой сохраняется, болото становится кладовой солнца, и потом вся эта кладовая солнца как торф достается человеку от солнца в наследство.

Блудово болото содержит огромные запасы горючего, но слой торфа не везде одинаковой толщины. Там, где сидели дети, у Лежачего камня, растения слой за слоем ложились друг на друга тысячи лет. Тут был старейший пласт торфа, но дальше, чем ближе к Слепой елани, слой становился все моложе и тоньше. Мало-помалу, по мере того как Митраша продвигался вперед по указанию стрелки и тропы, кочки под его ногами становились не просто мягкими, как раньше, а полужидкими. Ступит ногой как будто на твердое, а нога уходит, и становится страшно: не совсем ли в пропасть уходит нога? Попадаются какие-то вертялые кочки, приходится выбирать место, куда ногу поставить. А потом и так пошло, что ступишь, а у тебя под ногой от этого вдруг, как в животе, заурчит и побежит куда-то под болотом.

Земля под ногой стала как гамак, подвешенный над тенистой бездной. На этой подвижной земле, на тонком слое сплетенных между собой корнями и стеблями растений, стоят редкие, маленькие, корявые и заплесневелые елочки. Кислая болотная почва не дает им расти, и им, таким маленьким, лет уже по сто, а то и побольше... Елочки-старушки не как деревья в бору, все одинаковые: высокие, стройные, дерево к дереву, колонна к колонне, свеча к свече. Чем старше старушка на болоте, тем кажется чуднее. То вот одна голый сук подняла, как руку, чтобы обнять тебя на ходу, а у другой палка в руке, и она ждет тебя, чтобы хлопнуть, третья присела зачем-то, четвертая стоя вяжет чулок. И так все: что ни елочка, то непременно на что-то похожа.

Слой под ногами у Митраши становился все тоньше и тоньше, но растения, наверно, очень крепко сплелись и хорошо держали человека, и, качаясь и покачивая все далеко вокруг, он шел и шел вперед. Митраше оставалось только верить тому человеку, кто шел впереди его и оставил даже тропу после себя.

Очень волновались старушки елки, пропуская между собой мальчика с длинным ружьем, в картузе с двумя козырьками. Бывает, одна вдруг поднимется, как будто хочет смельчака палкой ударить по голове, и закроет собой впереди всех других старушек. А потом опустится, и другая колдунья тянет к тропе костлявую руку. И ждешь — вот-вот, как в сказке, полянка покажется, и на ней избушка колдуньи с мертвыми головами на шестах.

Вдруг над головой, совсем близко, показывается головка с хохолком, и встревоженный на гнезде чибис с круглыми черными крыльями и белыми подкрыльями резко кричит:

— Чьи вы, чьи вы?

— Жив, жив! — как будто отвечая чибису, кричит большой кулик кроншнеп, птица серая, с большим кривым клювом.

И черный ворон, стерегущий свое гнездо на борине, облетая по сторожевому кругу болото, заметил маленького охотника с двойным козырьком. Весной и у ворона тоже является особенный крик, похожий на то, как если человек крикнет горлом и в нос: «Дрон-тон!» Есть непонятные и не уловимые нашим ухом оттенки в этом основном звуке, и оттого мы не можем понять разговор воронов, а только догадываемся, как глухонемые.

— Дрон-тон! — крикнул сторожевой ворон в том смысле, что какой-то маленький человек с двойным козырьком и ружьем близится к Слепой елани и что, может быть, скоро будет пожива.

— Дрон-тон! — ответила издали на гнезде ворон-самка.

И это значило у нее:

«Слышу и жду!»

Сороки, состоящие с воронами в близком родстве, заметили переключку воронов и застрекотали. И даже лисичка после неудачной охоты за мышами наострила ушки на крик ворона.

Митраша все это слышал, но ничуть не трусил, — что ему было трусить, если под его ногами была тропа человеческая: шел такой же человек, как и он, — значит, и он сам, Митраша, мог по ней смело идти. И, услышав ворона, он даже запел:

*Ты не вейся, черный ворон,
Над моею головой!*

Пение подбодрило его еще больше, и он даже смекнул, как ему сократить трудный путь по тропе. Поглядывая себе под ноги, он заметил, что нога его, опускаясь в грязь, сейчас же собирает туда в ямку воду. Так и каждый человек, проходя по тропе, спускал воду из мха пониже, и оттого на осушенной бровке, рядом с ручейком тропы, по ту и другую сторону, аллейкой вырастала высокая сладкая трава белоус. По этой — не желтого цвета, как всюду было теперь, ранней весной, а скорее цвета белого — траве можно было далеко впереди себя понять, где проходит тропа человеческая. Вот Митраша увидел: его тропа круто завертывает влево, и туда идет далеко, и там совсем исчезает. Он проверил по компасу, стрелка глядела на север, тропа уходила на запад.

— Чьи вы? — закричал в это время чибис.

— Жив, жив! — ответил кулик.

— Дрон-тон! — еще уверенней крикнул ворон.

И кругом в елочках затрещали сороки.

Оглядев местность, Митраша увидел прямо перед собой чистую, хорошую поляну, где кочки, постепенно снижаясь, переходили в совершенно ровное место. Но самое главное: он увидел, что совсем близко, по той стороне поляны, змеилась высокая трава белоус — неизменный спутник тропы человеческой. Узнавая по направлению белоуса тропу, идущую не прямо на север, Митраша подумал: «Зачем же я буду поворачивать налево, на кочки, если тропа вон, рукой подать, виднеется там, за поляной?»

И он смело пошел вперед, пересекая чистую поляну...

— Эх, вы, — бывало, говорил нам Антипыч, — ходите вы, ребята, одетые и обутые.

— А то как же? — спрашивали мы.

— Ходили бы, — отвечал он, — голенькие и разутые.

— Зачем же голенькие и разутые?

А он то-то над нами покатывался.

Так мы ничего и не понимали, чему смеялся старик.

Теперь только, через много лет, приходят в голову слова Антипыча, и все становится понятным: обращал к нам Антипыч эти слова, когда мы, ребяташки, задорно и уверенно посвистывая, говорили о том, чего еще вовсе не испытали. Антипыч, предлагая ходить нам голенькими и разутыми, только не договаривал: «Не зная броду, не лезьте в воду».

Так вот и Митраша. И благоразумная Настя предупреждала его. И трава белоус показывала направление обхода елани. Нет! Не зная броду, оставил выбитую тропу человеческую и прямо полез в Слепую елань. А между тем тут-то вот именно, на этой полянке, вовсе прекращалось сплетение растений, тут была елань, то же самое, что зимой в пруду прорубь. В обыкновенной елани всегда бывает видна хоть чуть-чуть водица, прикрытая белыми прекрасными водяными лилиями, купавами. Вот за то эта елань и называлась Слепою, что по виду ее было невозможно узнать.

Митраша по елани шел вначале лучше, чем даже раньше по болоту. Постепенно, однако, нога его стала утопать все глубже и глубже, и становилось все труднее и труднее вытаскивать ее обратно. Тут лосю хорошо, у него страшная сила в длинной ноге, и, главное, он не задумывается и мчится одинаково и в лесу, и в болоте. Но Митраша, почуяв опасность, остановился и призадумался над своим положением. В один миг остановки он погрузился по колено, в другой миг ему стало выше колена. Он еще мог бы, сделав усилие, вырваться из елани обратно. И надумал было он повернуться, положить ружье на болото и, опираясь на него, выскочить. Но тут же, совсем недалеко от себя, впереди, увидел высокую белую траву на следу человеческом.

— Перескочу! — сказал он.

И рванулся.

Но было уже поздно. Сгоряча, как раненый, — пропадать так уж пропадать! — на авось, рванулся еще, и еще, и еще. И почувствовал, что он плотно схвачен со всех сторон по самую грудь. Теперь даже и сильно дыхнуть ему нельзя было: при малейшем движении его тянуло вниз. Он мог сделать только одно: положить плашмя ружье на болото и, опираясь на него двумя руками, не шевелиться и успокоить поскорее дыхание. Так он и сделал: снял с себя ружье, положил его перед собой, оперся на него той и другой рукой.

Внезапный порыв ветра принес ему пронзительный Настин крик:

— Митраша!

Он ей ответил.

Но ветер был с той стороны, где Настя, и уносил его крик в другую сторону Блудова болота, на запад, где без конца были только елочки. Одни сороки отозвались ему и, перелетая с елочки на елочку с обычным их тревожным стрекотанием, мало-помалу окружили всю Слепую елань и, сидя на верхних пальчиках елок, тонкие, носатые, длиннохвостые, стали трещать, одни вроде:

«Дри-ти-ти!»

Другие:

«Дра-та-та!»

— Дрон-тон! — крикнул ворон сверху.

И, мгновенно остановив шумный помах своих крыльев, резко бросил себя вниз и опять раскрыл крылья почти над самой головой человечка.

Маленький человек не решился даже показать ружье черному вестнику своей гибели.

И очень умные на всякое поганое дело сороки смекнули о полном бессилии погруженного в болото маленького человека. Они соскочили с верхних пальчиков елок на землю и с разных сторон начали скачками-прыжками свое сорочье наступление.

Маленький человек с двойным козырьком кричать перестал. По его загорелому лицу, по щекам блестящими ручейками потекли слезы.

IX

То ли, что клюква — ягода дорогая весной, то ли, что полезная и целебная и что чай с ней хорошо пить, только жадность при сборе ее у женщин развивается страшная. Одна старушка у нас раз набрала такую корзину, что и поднять не могла. И отсыпать ягоду или вовсе бросить корзину тоже не посмела. Да так чуть и не померла возле полной корзины. А то бывает, одна женщина нападет на ягоду и, оглядев кругом — не видит ли кто? — приляжет к земле на мокрое болото и ползает и уж не видит, что к ней ползет другая, не похожая вовсе даже и на человека. Так встретятся одна с другой — и ну цапаться! Вначале Настя срывала с плети каждую ягодку отдельно, для каждой красненькой наклонялась к земле. Но скоро из-за одной ягодки наклоняться перестала: ей больше хотелось.

Она стала уже теперь догадываться, где не одну-две ягодки можно взять, а целую горсточку, и стала наклоняться только за горсточкой. Так она ссыпает горсточку за горсточкой, все чаще и чаще, а хочется все больше и больше.

Бывало, раньше дома часу не поработает Настенька, чтобы не вспомнился брат, чтобы не захотелось с ним перекликнуться.

А вот теперь он ушел один неизвестно куда, а она и не помнит, что ведь хлеб-то у нее, что любимый брат там где-то, в тяжелом болоте, голодный идет. Да она и о себе самой забыла и помнит только о клюкве, и ей хочется все больше и больше.

Из-за чего же ведь и весь сыр-бор загорелся у нее при споре с Митрашей: именно что ей захотелось идти по набитой тропе. А теперь, следуя ощупью за клюквой — куда клюква ведет, туда и она, — Настя незаметно сошла с набитой тропы.

Было только один раз вроде пробуждения от жадности: она вдруг поняла, что где-то сошла с тропы. Повернула туда, где, ей казалось, проходила тропа, но там тропы не было. Она бросилась было в другую сторону, где маячили два дерева сухие с голыми сучьями, — там тоже тропы не было. Тут-то бы, к случаю, и вспомнить ей про компас, как о нем говорил Митраша, и самого-то брата, своего любимого, вспомнить, что он голодный идет, и, вспомнив, перекликнуться с ним...

И только-только бы вспомнить, как вдруг Настенька увидела такое, что не всякой клюквеннице достается хоть раз в жизни своей увидеть...

В споре своем, по какой тропке идти, дети одного не знали: что большая тропа и малая, огибая Слепую елань, обе сходились на Сухой речке и там, за Сухой, больше уже не расходясь, в конце концов выводили на большую Переславскую дорогу. Большим полукругом Настина тропа огибала по суходолу Слепую елань. Митрашина тропа шла напрямик возле самого края елани. Не сплошай он, не упустит из виду траву белоус на тропе человеческой, он давным-давно бы уже был на том месте, куда пришла только теперь Настя. И это место, спрятанное между кустиками можжевельника, и было как раз той самой палестинкой, куда Митраша стремился по компасу. Приди сюда Митраша голодный и без корзины, что бы ему было тут делать, на этой палестинке кроваво-красного цвета? На палестинку пришла Настя с большой корзиной, с большим запасом продовольствия, забытым и покрытым кислой ягодой.

И опять бы девочке, похожей на золотую курочку на высоких ногах, подумать при радостной встрече с палестинкой о брате своем и крикнуть ему:

«Милый друг, мы пришли!»

Ах, ворон, ворон, вещая птица! Живешь ты, может быть, сам триста лет, и кто породил тебя, тот в яичке своем пересказал все, что он тоже узнал за свои триста лет жизни. И так от ворона к ворону переходила память обо всем, что было в этом болоте за тысячу лет.

Сколько же ты, ворон, видел и знаешь, и отчего ты хоть один раз не выйдешь из своего вороньего круга и не перенесешь на своих могучих крыльях весточку о брате, погибающем в болоте от своей отчаянной и бессмысленной смелости, к сестре, любящей и забывающей брата от жадности! Ты бы, ворон, сказал им...

— Дрон-тон! — крикнул ворон, пролетая над самой головой погибающего человека.

— Слышу! — тоже в таком же «дрон-тон» ответила ему на гнезде ворониха. — Только успевай, урви чего-нибудь, пока его совсем не затянуло болото.

— Дрон-тон! — крикнул второй раз ворон-самец, пролетая над девочкой, ползающей почти рядом с погибающим братом по мокрому болоту. И это «дрон-тон» у ворона значило, что от этой ползающей девочки вороновой семье, может быть, еще больше достанется.

На самой середине палестинки не было клюквы. Тут выдался холмистой куртинкой частый осинник, и в нем стоял рогатый великан лось. Посмотреть на него с одной стороны — покажется, он похож на быка, посмотреть с другой — лошадь и лошадь: и стройное тело, и стройные ноги, сухие, и мурло с тонкими ноздрями. Но как выгнуто это мурло, какие глаза и какие рога! Смотришь и думаешь: а может быть, и нет ничего — ни быка, ни коня, а так складывается что-то большое, серое, в частом сером осиннике. Но как же складывается из осинника, если вот ясно видно, как толстые губы чудовища приклепнулись к дереву и на нежной осинке остается узкая белая полоска: это чудовище так кормится. Да почти и на всех осинках виднеются такие загрызы. Нет, не видение в болоте эта громада. Но как понять, что на осиновой корочке и лепестках болотного трилистника может вырасти такое большое тело?

Откуда же у человека при его могуществе берется жадность даже к кислой ягоде клюкве?

Лось, обирая осинку, с высоты своей спокойно глядит на ползущую девочку, как на всякую ползущую тварь.

Ничего не видя, кроме клюквы, ползет она и ползет к большому черному пню, еле передвигая за собой большую корзину, вся мокрая и грязная — прежняя Золотая Курочка на высоких ногах.

Лось ее и за человека не считает: у нее все повадки обычных зверей, на каких он смотрит равнодушно, как мы на бездушные камни.

А большой черный пень собирает в себя лучи солнца и сильно нагревается. Вот уже начинает вечереть, и воздух и все кругом охлаждается. Но пень, черный и большой, еще сохраняет тепло. На него выползли из болота и припали к теплу шесть маленьких ящериц; четыре бабочки-лимонницы, сложив крылышки, припали усиками; большие черные мухи прилетели ночевать. Длинная клюквенная плеть, цепляясь за стебельки трав и неровности, оплела черный теплый пень и, сделав на самом верху несколько оборотов, спустилась по ту сторону. Ядовитые змеи — гадюки в это время года стерегут тепло, и одна, огромная, в

полметра длиной, вползла на пень и свернулась колечком на клюкве.

А девочка тоже ползла по болоту, не поднимая вверх высоко головы. И так она приползла к горелому пню и дернула за ту самую плеть, где лежала змея. Гади́на подняла голову и зашипела. И Настя тоже подняла голову...

Тогда-то наконец Настя очнулась, вскочила, и лось, узнав в ней человека, прыгнул из осинника и, выбрасывая вперед сильные длинные ноги-ходули, помчался легко по вязкому болоту, как мчится по сухой тропинке заяц-русак.

Испуганная лосем, Настенька изумленно смотрела на змею: гадюка по-прежнему лежала, свернувшись колечком, в теплом луче солнца. Насте представилось, будто это она сама осталась там, на пне, и теперь вышла из шкуры змеиной и стоит, не понимая, где она.

Совсем недалеко стояла и смотрела на нее большая рыжая собака с черным ремешком на спине. Собака эта была Травка, и Настя даже вспомнила ее: Антипыч не раз приходил с ней в село. Но кличку собаки вспомнить она не могла верно и крикнула ей:

— Муравка, Муравка, я дам тебе хлебца!

И потянулась к корзине за хлебом. Доверху корзина была наполнена клюквой, и под клюквой был хлеб. Сколько же времени прошло, сколько клюквинок легло с утра до вечера, пока огромная корзина наполнилась! Где же был за это время брат, голодный, и как она забыла о нем, как она забыла сама себя и все вокруг?!

Она опять поглядела на пень, где лежала змея, и вдруг пронзительно закричала:

— Братец, Митраша!

И, рыдая, упала возле корзины, наполненной клюквой.

Вот этот пронзительный крик и долетел тогда до елани. И Митраша это слышал и ответил, но порыв ветра тогда унес крик его в другую сторону, где жили одни только сороки.

Х

И тот порыв был еще не последним, когда в ответ на крик Насти закричал Митраша. Последний порыв был, когда солнце погрузило как будто под землю золотые ножки своего трона и, большое, чистое, красное, нижним краешком своим коснулось земли. Тогда на суходоле запел свою милую песенку маленький певчий дрозд-белобровик. Несмело возле Лежачего камня на успокоенных деревьях затоковал Косач-токовик. И журавли прокричали три раза не как утром — «победа!», а вроде как бы:

«Спите, — но помните: мы вас всех скоро разбудим, разбудим, разбудим!»

День кончился не порывом ветра, а последним легким дыханием. Тогда наступила полная тишина, и везде стало все слышно, даже как пересвистывались рябчики в зарослях Сухой речки.

В это время, почуяв беду человеческую, Травка подошла к рыдающей Насте и лизнула ее соленую от слез щеку. Настя подняла было голову, поглядела на собаку и так, ничего не сказав ей, опустила голову обратно и положила ее прямо на ягоду. Сквозь клюкву Травка явственно чуяла хлеб, и ей ужасно хотелось есть, но позволить себе покопаться лапами в клюкве она никак не могла. Вместо этого, чуя беду человеческую, она подняла высоко голову и завывала.

Мы как-то раз, помнится, давным-давно тоже так под вечер ехали, как в старину было, лесной дорогой на тройке с колокольчиком. И вдруг ямщик осадил тройку, колокольчик замолчал и, вслушавшись, ямщик нам сказал:

— Беда!

Мы сами что-то услышали.

— Что это?

— Беда какая-то: собака воет в лесу.

Мы тогда так и не узнали, какая была там беда. Может быть, тоже где-то в болоте тонул человек и, провожая его, выла собака, верный друг человека.

В полной тишине, когда выла Травка, Серый сразу понял, что это было на палестинке, и скорей-скорей замахал туда напрямик.

Только очень скоро Травка выть перестала, и Серый остановился переждать, когда вой снова начнется.

А Травка в это время сама услышала в стороне Лежачего камня знакомый тоненький и редкий голосок:

— Тяв! Тяв!

И сразу поняла, конечно, что это тьякала лисица по зайцу. И то, конечно, она поняла: лисица нашла след того же самого зайца-русака, что и она понюхала там, на Лежачем камне. И то поняла, что лисице без хитрости никогда не догнать зайца и тьякает она, только чтобы он бежал и морился, а когда уморится и ляжет — тут-то она и схватит его на лёжке. С Травкой после Антипыча так не раз бывало при добывании зайца для пищи. Услыхав такую лисицу, Травка охотилась по волчьему способу: как волк на гону молча становится на круг и, наждав ревушую по зайцу собаку, ловит ее, так и она, затаиваясь, из-под гона лисицы зайца ловила.

Выслушав гон лисицы, Травка, точно так же, как и мы, охотники, поняла круг пробега зайца: от Лежачего камня заяц бежал на Слепую елань и оттуда на Сухую речку, оттуда долго полукругом на палестинку и опять непременно к Лежачему камню. Поняв это, она прибежала к Лежачему камню и затаилась тут в густом кусту можжевельника.

Недолго пришлось Травке ждать. Тонким слухом своим она услышала недоступное человеческому слуху чавканье заячьей лапы по лужицам на болотной тропе. Лужицы эти выступили на утренних следах Насти. Русак непременно должен был сейчас показаться у самого Лежачего камня.

Травка за кустом можжевельника присела и напружинила задние лапы для могучего броска и, когда увидела уши, бросилась.

Как раз в это время заяц, большой, старый, матерый русак, ковыляя еле-еле, вздумал внезапно остановиться и даже, привстав на задние ноги, послушать, далеко ли тавкает лисица.

Так вот одновременно сошлось: Травка бросилась, а заяц остановился.

И Травку перенесло через зайца.

Пока собака выправилась, заяц огромными скачками летел уже по Митрашиной тропе прямо на Слепую елань.

Тогда волчий способ охоты не удался: до темноты нельзя было ждать возвращения зайца.

И Травка своим собачьим способом бросилась вслед зайцу и, взвизгнув заливисто, мерным, ровным собачьим лаем наполнила всю вечернюю тишину.

Услыхав собаку, лисичка, конечно, сейчас же бросила охоту за русаком и занялась повседневной охотой на мышей. А Серый, наконец-то услышав долгожданный лай собаки, понесся на махах в направлении Слепой елани.

ХІ

— Дри-ти-ти!

Другие кричали по зайцу:

— Дра-та-та!

Трудно догадаться и разобраться в этой сорочьей тревоге. Сказать, что зовут на помощь, — какая тут помощь! Если на сорочий крик придет человек или собака, сорокам же ничего не достанется. Сказать, что они созывают своим криком все сорочье племя на кровавый пир? Разве что так...

— Дри-ти-ти! — кричали сороки, подсакивая ближе и ближе к маленькому человеку.

Но подскочить совсем не могли: руки у человека были свободны. И вдруг сороки смешались: одна и та же сорока то дрикнет на «и», то дракнет на «а».

Это значило, что на Слепую елань заяц подходит.

Русак уже не один раз увертывался от Травки и хорошо знал, что гончая зайца догоняет и что, значит, надо действовать хитростью. Вот почему перед самой еланью, не доходя маленького человека, он остановился и взбудил всех сорок. Все они расселись по верхним пальчикам елок, и все закричали по зайцу:

— Дри-та-та!

скидки

Заяц, чуть-чуть постояв, сделал свой первый огромный прыжок, или, как охотники говорят, свою скидку, — в одну сторону, постояв там, скинулся в другую и через десяток малых прыжков — в третью и там лег глазами к своему следу, на тот случай, что если Травка разберется в скидках, придет и к третьей скидке, так чтобы можно было вперед увидеть ее...

Да, конечно, умен, умен заяц, но все-таки эти скидки — опасное дело: умная гончая тоже понимает, что заяц всегда глядит в свой след, и так исхитряется взять направление на скидках не по следам, а прямо по воздуху, верхним чутьем.

И как же, значит, бьется сердчишко у зайчишки, когда он слышит — лай собаки прекратился, собака скололась и начала делать у места скола молча свой страшный круг... Заяц повезло в этот раз. Он понял: собака, начав делать свой круг по елани, с чем-то там встретилась, и вдруг там явственно послышался голос человека и поднялся страшный шум...

Можно догадаться: заяц, услышав непонятный шум, сказал себе что-нибудь вроде нашего «подальше от греха» и, ковыль-ковыль, тихонечко вышел на обратный след, к Лежащему камню.

А Травка, разлетевшись на елани по зайцу, вдруг в десяти шагах от себя глаза в глаза увидела маленького человека и, забыв о зайце, остановилась как вкопанная.

Что думала Травка, глядя на маленького человека в елани, можно легко догадаться. Ведь это для нас все мы разные. Для Травки все люди были как два человека: один — Антипыч с разными лицами и другой человек — это враг Антипыча. И вот почему хорошая, умная собака не подходит сразу к человеку, а остановится и узнает, ее это хозяин или враг его. Так вот и стояла Травка и глядела в лицо маленького человека, освещенного последним лучом заходящего солнца.

Глаза у маленького человека были сначала тусклые, мертвые, но вдруг в них загорелся огонек, и вот это заметила Травка.

«Скорее всего, это Антипыч», — подумала Травка.

И чуть-чуть, еле заметно вильнула хвостом.

Мы, конечно, не можем знать, как думала Травка, узнавая своего Антипыча, но догадываться, конечно, можно.

Вы помните, бывало ли с вами так? Бывает, наклонишься в лесу к тихой заводи ручья и там, как в зеркале, увидишь: весь-то, весь человек, большой, прекрасный, как для Травки Антипыч, из-за твоей спины наклонился и тоже смотрится в заводь, как в зеркало. И так он прекрасен там, в зеркале, со всею природой, с облаками, лесами, и солнышко там внизу тоже садится, и молодой месяц показывается, и частые звездочки.

Так вот точно, наверно, и Травке в каждом лице человека, как в зеркале, виднелся весь человек Антипыч, и к каждому стремилась она броситься на шею, но по опыту своему она знала: есть враг Антипыча с точно таким же лицом.

И она ждала.

А лапы ее между тем понемногу тоже засасывало; если так дольше стоять, то и собачьи лапы так засосет, что и не вытащишь. Ждать стало больше нельзя.

И вдруг...

Ни гром, ни молния, ни солнечный восход со всеми победными звуками, ни закат с журавлиным обещанием нового прекрасного дня — ничто, никакое чудо природы не могло быть больше того, что случилось сейчас для Травки в болоте: она услышала слово человеческое — и какое слово!

Антипыч, как большой, настоящий охотник, назвал свою собаку вначале, конечно, по-охотничьи — от слова «травить», и наша Травка вначале у него называлась Затравка; но после охотничья кличка на языке оболталась, и вышло прекрасное имя Травка. В последний раз, когда приходил к нам Антипыч, собака его называлась еще Затравка. И когда загорелся огонек в глазах маленького человека, это значило, что Митраша вспомнил имя собаки.

Потом омертвелые, синеющие губы маленького человека стали наливаясь кровью, краснеть, зашевелились. Вот это движение губ Травка заметила и второй раз чуть-чуть вильнула хвостом. И тогда произошло настоящее чудо в понимании Травки. Точно так же, как старый Антипыч в старое время, новый молодой и маленький Антипыч сказал:

— Затравка!

Узнав Антипыча, Травка мгновенно легла.

— Ну! Ну! — сказал Антипыч. — Иди ко мне, умница!

И Травка в ответ на слова человека тихонечко поползла.

Но маленький человек звал ее и манил сейчас не совсем прямо от чистого сердца, как думала, наверно, сама Травка. У маленького человека в словах не только дружба и радость была, как думала Травка, а тоже таился и хитрый план своего спасения. Если бы он мог пересказать ей понятно свой план, с какой бы радостью бросилась она его спасти! Но он не мог сделать себя для нее понятным и должен был обманывать ее ласковым словом. Ему даже надо было, чтобы она его боялась, а то если бы она не боялась, не чувствовала хорошего страха перед могуществом великого Антипыча и по-собачьи со всех ног

бросилась бы ему на шею, то неминуемо болото бы затащило в свои недра и человека, и его друга — собаку. Маленький человек просто не мог быть сейчас тем великим человеком, какой мерещился Травке. Маленький человек принужден был хитрить.

— Затравушка, милая Затравушка! — ласкал он ее сладким голосом.

А сам думал:

«Ну, ползи, только ползи!»

И собака, своей чистой душой подозревая что-то не совсем чистое в ясных словах Антипыча, ползла с остановками.

— Ну, голубушка, еще, еще!

А сам думал:

«Ползи только, ползи!»

И вот понемногу она подползла. Он мог бы уже и теперь, опираясь на распластанное на болоте ружье, наклониться немного вперед, протянуть руку, погладить по голове. Но маленький хитрый человек знал, что от одного его малейшего прикосновения собака с визгом радости бросится на него и утопит.

И маленький человек остановил в себе большое сердце. Он замер в точном расчете движения, как боец в определяющем исход борьбы ударе: жить ему или умереть.

Вот еще бы маленький ползок по земле, и Травка бы бросилась на шею человеку, но в расчете своем маленький человек не ошибся: мгновенно он выбросил свою правую руку вперед и схватил большую, сильную собаку за левую заднюю ногу.

Так неужели же враг человека так мог обмануть?

Травка с безумной силой рванулась, и она бы вырвалась из руки маленького человека, если бы тот, уже достаточно выволоченный, не схватил другой рукой ее за другую ногу.

Мгновенно вслед за тем он лег животом на ружье, выпустил собаку и на четвереньках сам, как собака, переставляя опору-ружье все вперед и вперед, подполз к тропе, где постоянно ходил человек и где от ног его по краям росла высокая трава белоус. Тут, на тропе, он поднялся, тут он отер последние слезы с лица, отряхнул грязь с лохмотьев своих и, как настоящий, большой человек, властно приказал:

— Иди же теперь ко мне, моя Затравка!

Услыхав такой голос, такие слова, Травка бросила все свои колебания: перед нею стоял прежний прекрасный Антипыч. С визгом радости, узнав хозяина, кинулась она ему на шею, и большой человек целовал своего друга и в нос, и в глаза, и в уши.

Не пора ли сказать теперь уж, как мы сами думаем о загадочных словах нашего старого лесника Антипыча, когда он обещал нам перешепнуть свою правду собаке, если мы сами его не застанем живым? Мы думаем, Антипыч не совсем в шутку об этом сказал. Очень может быть, тот Антипыч, как Травка его понимает, или, по-нашему, весь человек в древнем прошлом его, перешепнул своему другу собаке какую-то свою большую человеческую правду, и мы думаем: эта правда есть правда вековой суровой борьбы людей за любовь.

XII

Голодный Митраша, еле живой, сразу понял, что все спасение его будет в этом зайце, что если он убьет зайца, то огонь добудет выстрелом и, как не раз бывало при отце, испечет зайца в горячей золе. Осмотрев ружье, переменив подмокшие патроны, он вышел на круг и притаился в кусту можжевельника.

Еще хорошо можно было видеть на ружье мушку, когда Травка завернула зайца от Лежачего камня на большую Настину тропу, выгнала на палестинку, направила его отсюда на куст можжевельника, где таился охотник. Но тут случилось, что Серый, услышав возобновленный гон собаки, выбрал себе как раз тот самый куст можжевельника, где таился охотник, и два охотника, человек и злейший враг его, встретились... Увидев серую морду от себя в пяти каких-то шагах, Митраша забыл о зайце и выстрелил почти в упор.

Серый помещик окончил жизнь свою без всяких мучений.

Гон был, конечно, сбит этим выстрелом, но Травка дело свое продолжала. Самое же главное, самое счастливое было не заяц, не волк, а что Настя, услышав близкий выстрел, закричала. Митраша узнал ее голос, ответил, и она вмиг к нему прибежала. После того вскоре и Травка принесла русака своему новому молодому Антипычу, и друзья стали греться у костра, готовить себе еду и ночлег.

Настя и Митраша жили от нас через дом, и когда утром заревела у них на дворе голодная скотина, мы первые пришли посмотреть, не случилось ли какой беды у детей. Мы сразу поняли, что дети дома не ночевали и, скорее всего, заблудились в болоте. Собрались мало-помалу и другие соседи, стали думать, как нам выручить детей, если только они еще живы. И только собрались было рассыпаться по болоту во все стороны — глядим, а охотники за сладкой клюквой идут из леса гуськом, и на плечах у них шест с тяжелой корзиной, и рядом с ними Травка, собака Антипыча.

Они рассказали нам во всех подробностях обо всем, что с ними случилось в Блудовом болоте. И всему у нас верили — неслыханный сбор клюквы был налицо. Но не все могли поверить, что мальчик на одиннадцатом году жизни мог убить старого хитрого волка.

Однако несколько человек из тех, кто поверил, с веревкой и большими санками отправились на указанное место и вскоре привезли мертвого Серого помещика. Тогда все в селе на время бросили свои дела и собрались, и даже не только из своего села, а тоже из соседних деревень. Сколько тут было разговоров! И трудно сказать, на кого больше глядели: на волка или на охотника в картузе с двойным козырьком. Когда переводили глаза с волка на охотника, говорили:

— А вот дразнили: «Мужичок в мешочке»!

— Был мужичок, — отвечали другие, — да сплыл. Кто смел, тот два съел: не мужичок, а герой.

И тогда незаметно для всех прежний Мужичок в мешочке правда стал переменяться и за следующие два года войны вытянулся, и какой из него парень вышел — высокий, стройный. И стать бы ему непременно героем Отечественной войны, да вот только война-то кончилась.

А Золотая Курочка тоже всех удивила в селе. Никто ее в жадности, как мы, не упрекал, напротив, все одобряли и что она благоразумно звала брата на торную тропу, и что так

много набрала клюквы. Но когда из детдома эвакуированных ленинградских детей обратились в село за посильной помощью детям, Настя отдала им всю свою целебную ягоду. Тут-то вот мы, войдя в доверие девочки, узнали от нее, как мучилась она про себя за свою жадность.

Нам остается теперь сказать еще несколько слов о себе: кто мы такие и зачем попали в Блудово болото. Мы — разведчики болотных богатств. Еще с первых дней Отечественной войны работали над подготовкой болота для добывания в нем горючего — торфа. И мы дознались, что торфа в этом болоте хватит для работы большой фабрики лет на сто. Вот какие богатства скрыты в наших болотах, а многие до сих пор только и знают об этих великих кладовых солнца, что в них будто бы черти живут: все это вздор, и никаких нет в болоте чертей.

Рассказы

Лисичкин хлеб

— Это что за птица? — спросила Зиночка.

— Терентий, — ответил я.

И рассказал ей про тетерева как он живет в лесу, как бормочет весной, как березовые почки клюет, ягодки осенью в болотах собирает, зимой греется от ветра под снегом. Рассказал ей тоже про рябчика, показал ей — что серенький, с хохолком, и посвистел в дудочку порябчиному и ей дал посвистеть. Еще я высыпал на стол много белых грибов, и красных, и черных. Еще у меня была в кармане кровавая ягода костяника, и голубая черника, и красная брусника. Еще я принес с собой ароматный комочек сосновой смолы, дал понюхать девочке и сказал, что этой смолкой деревья лечатся.

— Кто же их там лечит? — спросила Зиночка.

— Сами лечатся, — ответил я. — Придет, бывает, охотник, захочется ему отдохнуть, он и воткнет топор в дерево и на топор сумку повесит, а сам ляжет под деревом. Поспит, отдохнет. Вынет из дерева топор, сумку наденет, уйдет. А из ранки от топора из дерева побежит эта ароматная смолка и ранку эту затынет.

Тоже нарочно для Зиночки, принес я разных чудесных трав по листику, по корешку, по цветочку: кукушкины слезки, валерьянка, Петров крест, заячья капуста. И как раз под заячьей капустой лежал у меня кусок черного хлеба: со мной это постоянно бывает, что когда не возьму хлеба в лес, — голодно, а возьму — забуду съесть и назад принесу. А Зиночка, когда увидала у меня под заячьей капустой черный хлеб, так и обомлела:

— Откуда же это в лесу взялся хлеб?

— Что же тут удивительного? Ведь есть же там капуста!

— Заячья...

— А хлеб — лисичкин. Отведай.

Осторожно попробовала и начала есть:

— Хороший лисичкин хлеб!

И съела весь мой черный хлеб дочиста. Так и пошло у нас: Зиночка, копуля такая, часто и белый-то хлеб не берет, а как я из лесу лисичкин хлеб принесу, съест всегда его весь и похвалит:

— Лисичкин хлеб куда лучше нашего!

«Изобретатель»

Подержал я у себя этих черных утят, и стали они вскоре все серыми. После из серых один вышел красавец разноцветный селезень и две уточки, Дуся и Муся. Мы им крылья подрезали, чтобы не улетели, и жили они у нас на дворе вместе с домашними птицами: куры были у нас и гуси.

С наступлением новой весны устроили мы своим дикарям из всякого хлама в подвале кочки, как на болоте, и на них гнезда. Дуся положила себе в гнездо шестнадцать яиц и стала высиживать утят. Муся положила четырнадцать, но сидеть на них не захотела. Как мы ни бились, пустая голова не захотела быть матерью. И мы посадили на утиные яйца нашу важную черную курицу — Пиковую Даму.

Пришло время, вывелись наши утята. Мы их некоторое время подержали на кухне, в тепле, крошили им яйца, ухаживали.

Через несколько дней наступила очень хорошая, теплая погода, и Дуся повела своих черненьких к пруду, и Пиковая Дама своих — в огород за червями.

— Свись-свись! — утята в пруду.

— Кряк-кряк! — отвечает им утка.

— Свись-свись! — утята в огороде.

— Квох-квох! — отвечает им курица.

Утята, конечно, не могут понять, что значит «квох-квох», а что слышится с пруда, это им хорошо известно.

«Свись-свись» — это значит: «свои к своим».

А «кряк-кряк» — значит: «вы — утки, вы — кряквы, скорей плывите!»

И они, конечно, глядят туда, к пруду.

— Свои к своим!

И бегут.

— Плывите, плывите!

И плывут.

— Квох-квох! — упирается важная птица-курица на берегу.

Они всё плывут и плывут. Сосвистались, сплылись, радостно приняла их в свою семью Дуся; по Мусе они были ей родные племянники.

Весь день большая сборная утиная семья плавала на прудике, и весь день Пиковая Дама, распушенная, сердитая квохтала, ворчала, копала ногой червей на берегу, старалась привлечь червями утят и квохтала им о том, что уж очень-то много червей, таких хороших червей!

— Дрянь-дрянь! — отвечала ей кряква.

А вечером она всех своих утят провела одной длинной веревочкой по сухой тропинке. Под самым носом важной птицы прошли они, черненькие, с большими утиными носами ни один даже на такую мать и не поглядел.

Мы всех их собрали в одну высокую корзинку и оставили ночевать в теплой кухне возле плиты.

Утром, когда мы еще спали, Дуся вылезла из корзины, ходила вокруг по полу, кричала, вызывала к себе утят. В тридцать голосов ей на крик отвечали свистуны.

На утиный крик стены нашего дома, сделанного из звонкого соснового леса, отзывались по-своему. И все-таки в этой кутерьме мы расслышали отдельно голос одного утенка.

— Слышите? — спросил я своих ребят.

Они прислушались.

— Слышим! — закричали.

И пошли в кухню.

Там, оказалось, Дуся была не одна на полу. С ней рядом бегал один утенок, очень беспокоился и непрерывно свистел. Этот утенок, как и все другие, был ростом с небольшой огурец. Как же мог такой-то воин перелезть стену корзинки высотой сантиметров в тридцать?

Стали все мы об этом догадываться, и тут явился новый вопрос: сам утенок придумал себе какой-нибудь способ выбраться из корзины вслед за матерью или же она случайно задела его как-нибудь своим крылом и выбросила? Я перевязал ножку этого утенка ленточкой и пустил в общее стадо.

Переспали мы ночь, и утром, как только раздался в доме утиный утренний крик, мы — в кухню.

На полу вместе с Дусей бегал утенок с перевязанной лапкой.

Все утята, заключенные в корзине, свистели, рвались на волю и не могли ничего сделать.

Этот выбрался. Я сказал:

— Он что-то придумал.

— Он изобретатель! — крикнул Лева.

Тогда я задумал посмотреть, каким же способом этот «изобретатель» решает труднейшую задачу: на своих утиных перепончатых лапках подняться по отвесной стене. Я встал на следующее утро до свету, когда и ребята мои и утята спали непробудным сном. В кухне я сел возле выключателя, чтобы сразу, когда надо будет, дать свет и рассмотреть события в глубине корзины.

И вот побелело окно. Стало светать.

— Кряк-кряк! — проговорила Дуся.

— Свись-свись! — ответил единственный утенок.

И все замерло. Спали ребята, спали утята.

Раздался гудок на фабрике. Свету прибавилось.

— Кряк-кряк! — повторила Дуся.

Никто не ответил. Я понял: «изобретателю» сейчас некогда — сейчас, наверно, он и решает свою труднейшую задачу. И я включил свет.

Ну, так вот я и знал! Утка еще не встала, и голова ее еще была вровень с краем корзины.

Все утята спали в тепле под матерью, только один, с перевязанной лапкой, вылез и по перьям матери, как по кирпичикам, взбирался вверх, к ней на спину. Когда Дуся встала, она подняла его высоко, на уровень с краем корзины. По ее спине утенок, как мышь, пробежал до края — и кувырк вниз! Вслед за ним мать тоже вывалилась на пол, и началась обычная утренняя кутерьма: крик, свист на весь дом.

Дня через два после этого утром на полу появилось сразу три утенка, потом пять, и пошло и пошло: чуть только крякнет утром Дуся, все утята к ней на спину и потом валяются вниз.

А первого утенка, проложившего путь для других, мои дети так и прозвали Изобретателем.

Ребята и утята

а

В местах, открытых для глаз человека, лисицы и ястреба, мать шла позади, чтобы не выпускать утят ни на минуту из виду. И около кузницы, при переходе через дорогу, она, конечно, пустила их вперед. Вот тут их увидели ребята и зашвыряли шапками. Все время, пока они ловили утят, мать бегала за ними с раскрытым клювом или перелетывала в разные стороны на несколько шагов в величайшем волнении. Ребята только было собрались закидать шапками мать и поймать ее, как утят, но тут я подошел.

— Что вы будете делать с утятами? — строго спросил я ребят.

Они трусили и ответили:

— Пустим.

— Вот то-то «пустим»! — сказал я очень сердито. — Зачем вам надо было их ловить? Где теперь мать?

— А вон сидит! — хором ответили ребята.

И указали мне на близкий холмик парового поля, где уточка действительно сидела с раскрытым от волнения ртом.

— Живо, — приказал я ребятам, — идите и возвратите ей всех утят!

Они как будто даже и обрадовались моему приказанию, прямо и побежали с утятами на холм. Мать отлетела немного и, когда ребята ушли, бросилась спасать своих сыновей и дочерей. По-своему она им что-то быстро сказала и побежала к овсяному полю. За ней побежали утята — пять штук. И так по овсяному полю, в обход деревни, семья продолжала свое путешествие к озеру.

Радостно снял я шляпу и, помахав ею, крикнул:

— Счастливый путь, утята!

Ребята надо мной засмеялись.

— Что вы смеетесь, глупыши? — сказал я ребятам. — Думаете, так-то легко попасть утятам в озеро? Снимайте живо все шапки, кричите «до свиданья»!

И те же самые шапки, запыленные на дороге при ловле утят, поднялись в воздух, все разом закричали ребята:

— До свиданья, утята!

Лесной доктор

— Эх вы, проказники! — сказали мы и указали им на срезанную осину. — Вам велено резать сухостойные деревья, а вы что сделали?

— Дятел дырки наделал, — ответили ребята. — Мы поглядели и, конечно, спилили. Все равно пропадет.

Стали все вместе осматривать дерево. Оно было совсем свежее, и только на небольшом пространстве, не более метра в длину, внутри ствола прошел червяк. Дятел, очевидно, выслушал осину, как доктор: выстукал ее своим клювом, понял пустоту, оставляемую червем, и приступил к операции извлечения червя. И второй раз, и третий, и четвертый... Нетолстый ствол осины походил на свирель с клапанами. Семь дырок сделал «хирург» и только на восьмой захватил червяка, вытащил и спас осину. Мы вырезали этот кусок, как замечательный экспонат для музея.

— Видите, — сказали мы ребятам, — дятел — это лесной доктор, он спас осину, и она бы жила и жила, а вы ее срезали.

Пареньки подивились.

Ёж

— А, ты так со мной! — сказал я и кончиком сапога спихнул его в ручей.

Мгновенно ёж развернулся в воде и поплыл к берегу, как маленькая свинья, только вместо щетины на спине были иголки. Я взял палочку, скатил его ежа в свою шляпу и понес домой. Мышей у меня было много, я слышал — ёжик их ловит, и решил: пусть он живет у меня и ловит мышей.

Так, положил я этот колючий комок посреди пола и сел писать, а сам уголком глаза все смотрю на ежа. Недолго он лежал неподвижно: как только я затих у стола, ёжик развернулся, огляделся, туда попробовал идти, сюда и выбрал себе наконец место под кроватью и там совершенно затих.

Когда стемнело, я зажег лампу и — здравствуйте! — ёжик выбежал из-под кровати. Он, конечно, подумал на лампу, что это луна вошла в лесу: при луне ежи любят бегать по лесным полянкам. И так он пустился бегать по комнате, представляя, что это лесная полянка. Я взял трубку, закурил и пустил возле луны облачко. Стало совсем как в лесу: и луна, и облака, а ноги мои были как стволы деревьев и, наверное, очень нравились ежу, он так и шнырял между ними, понюхивая и почесывая иголками задник у моих сапог.

Прочитав газету, я уронил ее на пол, перешел в кровать и уснул.

Сплю я всегда очень чутко. Слышу — какой-то шелест у меня в комнате, чиркнул спичкой, зажег свечу и только заметил, как ёж мелькнул под кровать. А газета лежала уже не возле стола, а посередине комнаты. Так я и оставил гореть свечу и сам не сплю, раздумывая: «Зачем это ёжику газета понадобилась?» Скоро мой жилец выбежал из-под кровати — и прямо к газете, завертелся возле нее, шумел, шумел и наконец ухитрился: надел себе как-то на колючки уголок газеты и потащил ее, огромную, в угол.

Тут я и понял его: газета ему была как в лесу сухая листва, он тащил ее себе для гнезда. И оказалось, правда, в скором времени ёж весь обернулся газетой и сделал себе из нее настоящее гнездо. Кончив это важное дело, он вышел из своего жилища и остановился против кровати, разглядывая свечу — луну.

Я подпустил облака и спрашиваю:

— Что тебе еще надо?

Ёжик не испугался.

— Пить хочешь?

Я встал. Ёжик не бежит.

Взял я тарелку, поставил на пол, принес ведро с водой, и то налью воды в тарелку, то опять вылью в ведро, и так шумлю, будто это ручеек поплескивает.

— Ну, иди, иди, — говорю, — видишь, я для тебя и луну устроил, и облака пустил, и вот тебе вода...

Смотрю: будто двинулся вперед. А я тоже немного подвинул к нему свое озеро. Он двинется — и я двину, да так и сошлись.

— Пей, — говорю окончательно.

Он и залакал.

А я так легонько по колючкам рукой провел, будто погладил, и все приговариваю:

— Хороший ты малый, хороший!

Напился ёж, я говорю:

— Давай спать.

Лег и задул свечу.

Вот не знаю, сколько я спал, слышу: опять у меня в комнате работа. Зажигаю свечу — и что же вы думаете? Ёжик бежит по комнате, и на колючках у него яблоко. Прибежал в гнездо, сложил его там и за другим бежит в уголок, а в углу стоял мешок с яблоками и завалился. Вот ёж подбежал, свернулся около яблок, дернулся и опять бежит — на колючках другое яблоко тащит в гнездо.

Так вот и устроился у меня ёжик. А сейчас я, как чай пить, непременно его к себе на стол и то молока ему налью на блюдечко — выпьет, то булочки дам — съест.

Золотой луг

«Сережа!» — позову я его деловито. Он оглянется, а я фукну ему одуванчиком прямо в лицо. За это он начинает меня подкарауливать и тоже, как зазеваешься, фукнет. И так мы эти неинтересные цветы срывали только для забавы. Но раз мне удалось сделать открытие. Мы жили в деревне, перед окном у нас был луг, весь золотой от множества цветущих одуванчиков. Это было очень красиво. Все говорили «Очень красиво! Луг золотой».

Однажды я рано встал удить рыбу и заметил, что луг был не золотой, а зеленый. Когда же я возвращался около полудня домой, луг был опять весь золотой. Я стал наблюдать. К вечеру луг опять позеленел. Тогда я пошел, отыскал одуванчик, и оказалось, что он сжал свои лепестки, как все равно если бы у нас пальцы со стороны ладони были желтые и, сжав в кулак, мы закрыли бы желтое. Утром, когда солнце взошло, я видел, как одуванчики раскрывают свои ладони, и от этого луг становится опять золотым.

С тех пор одуванчик стал для нас одним из самых интересных цветов, потому что они спать ложились вместе с нами, детьми, и вместе с нами вставали.

Журка

— Умница! — сказала моя жена и спросила меня: — А сколько он может съесть их? Десять может?

— Десять, — говорю, — может.

— А ежели двадцать?

— Двадцать, — говорю, — едва ли...

Подрезали мы этому журавлю крылья, и стал он за женой всюду ходить. Она корову доить — и Журка с ней, она в огород — и Журке там надо, и тоже на полевые, колхозные работы ходит с ней, и за водой. Привыкла к нему жена, как к своему собственному ребенку, и без него ей уж скучно, без него никуда. Но только ежели случится — нет его, крикнет только одно: «Фру-фру!» — и он к ней бежит. Такой умница!

Так живет у нас журавль, а подрезанные крылья его все растут и растут.

Раз пошла жена за водой вниз, к болоту, и Журка за ней. Лягушонок небольшой сидел у колодца и прыг от Журки в болото. Журка за ним, а вода глубокая, и с берега до лягушонка не дотянешься. Мах-мах крыльями Журка и вдруг полетел. Жена ахнула — и за ним. Мах-мах руками, а подняться не может. И в слезы, и к нам: «Ах, ах, горе какое! Ах, ах!» Мы все прибежали к колодцу. Видим — Журка далеко, на середине нашего болота сидит.

— Фру-фру! — кричу я.

И все ребята за мной тоже кричат:

— Фру-фру!

И такой умница! Как только услышал он это наше «фру-фру», сейчас мах-мах крыльями и прилетел. Тут уж жена себя не помнит от радости, велит ребятам бежать скорее за лягушками. В этот год лягушек было множество, ребята скоро набрали два картуза.

Принесли ребята лягушек, стали давать и считать. Дали пять — проглотил, дали десять — проглотил, двадцать и тридцать, да так вот и проглотил за один раз сорок три лягушки.

Говорящий грач

— Кашки хочешь, дурашка?

Поклюет и улетит. И так каждый день, весь месяц. Хочу я добиться, чтобы на вопрос мой:

«Кашки хочешь, дурашка?» — он сказал бы: «Хочу».

А он только желтый нос откроет и красный язык показывает.

— Ну, ладно! — рассердился я и забросил ученье.

К осени случилась со мной беда: полез я за крупой в сундук, а там нет ничего. Вот как воры обчистили: половина огурца была на тарелке, и ту унесли! Лег я спать голодный. Всю ночь вертелся. Утром в зеркало посмотрел — лицо все зеленое стало.

Стук, стук! — кто-то в окошко.

На подоконнике грач долбит в стекло.

«Вот и мясо!» — явилась у меня мысль.

Открываю окно — и хвать его. А он — прыг от меня на дерево. Я — в окно за ним к сучку. Он повыше. Я лезу. Он выше — и на самую макушку. Я туда не могу, очень качается. Он же, шельмец, смотрит на меня сверху и говорит:

— Хо-чешь каш-ки, ду-ра-шка?

Предательская колбаса

— Так не годится, — сказал я строгим голосом. — Это, брат, не служба. А кроме того, ты ушел без намордника, значит, каждый встречный имеет право тебя застрелить.

Безобразный ты пес!

Я все высказал суровым голосом, и он выслушал меня, лежа на траве, виноватый, смущенный, не Ярик — золотистый гордый ирландец, а какая-то рыжая, ничтожная, сплюснутая черепаха.

— Не будешь больше ходить к Рябчику? — спросил я более добрым голосом.

Он прыгнул ко мне на грудь. Это у него значило:

«Никогда не буду, добрый хозяин».

— Перестань лапиться! — сказал я строго.

И простил.

Он покатался в траве, встряхнулся и стал обыкновенным хорошим Яриком.

Мы жили в дружбе недолго, всего только неделю, а потом он снова куда-то исчез. Вскоре дети, зная, как я тревожусь о нем, привели беглеца: он опять сделал Рябчику незаконный визит. В этот раз я не стал с ним разговаривать и отправил в темный подвал, а детей просил, чтобы в следующий раз они только известили меня, но не приводили и не давали там ему пищи. Мне хотелось, чтобы он вернулся по доброй воле.

В темном подвале путешественник пробыл у меня сутки. Потом, как обыкновенно, я серьезно поговорил с ним и простил. Наказание подвалом подействовало только на две недели. Дети прибежали ко мне из города:

— Ярик у нас!

— Так ничего же ему не давайте, — велел я. — Пусть проголодается и придет сам, а я подготовлю ему хорошую встречу.

Прошел день. Наступила ночь. Я зажег лампу, сел на диван, стал читать книгу. Налетело на огонь множество бабочек, жуков, все это стало кружиться возле лампы, валиться на книгу, на шею, путаться в волосах. Но закрыть дверь на террасу было нельзя, потому что это был единственный вход, через который мог явиться ожидаемый Ярик. Я, впрочем, не обращал внимания на бабочек и жуков, книга была увлекательной, и шелковый ветерок, долетая из леса, приятно шумел. Я и читал и слушал музыку леса.

Но вдруг мне что-то показалось в уголку глаза. Я быстро поднял голову, и это исчезло.

Теперь я стал прилаживаться так читать, чтобы, не поднимая головы, можно было наблюдать порог. Вскоре там показалось нечто рыжее, стало красться в обход стола, и, я думаю, мышь слышней пробежала бы, чем как это большое подползало под диван. Только знакомое неровное дыхание подсказало мне, что Ярик был под диваном и лежал как раз подо мной. Некоторое время я читаю и жду, но терпения у меня хватило ненадолго. Встаю, выхожу на террасу и начинаю звать Ярика строгим голосом и ласковым, громко и тихо, свистать и даже трубить. Так уверил я лежащего под диваном, что ничего не знаю о его возвращении. Потом я закрыл дверь от бабочек и говорю вслух:

— Верно, Ярик уже не придет, пора ужинать.

ужинать

В моем охотничьем столе лежит запас копченой колбасы, которая чем больше сохнет, тем становится вкуснее. Я очень люблю сухую охотничью колбасу и всегда ем ее вместе с Яриком. Бывало, мне довольно только ящиком шевельнуть, чтобы Ярик, спящий колечком, развернулся, как стальная пружина, и подбежал к столу, сверкая огненным взглядом. Я выдвинул ящик — из-под дивана ни звука. Раздвигаю колени, смотрю вниз — нет ли там на полу рыжего носа. Нет, носа не видно. Режу кусочек, громко жую, заглядываю — нет, хвост не молотит. Начинаю опасаться, не показалась ли мне рыжая тень от сильного ожидания и Ярика вовсе и нет под диваном. Трудно думать, чтобы он, виноватый, не соблазнился даже колбасой — ведь он так любит ее. Если я, бывало, возьму кусочек, надрежу, задеру шкурку, чтобы можно было за кончик ее держаться пальцами и кусочек бы висел, как на нитке, то Ярик задерет нос вверх, стережет долго и вдруг прыгнет. Но мало того: если я успею во время прыжка отдернуть вверх руку с колбасой, то Ярик так и остается на задних ногах, как человек. Я иду с колбасой, и Ярик идет за мной на двух ногах, опустив передние лапы, как руки, и так мы обходим комнату и раз, и два, и даже больше. Я надеюсь в будущем посредством колбасы вообще приучить ходить его по-человечески и когда-нибудь во время городского гулянья появиться там под руку с рыжим хвостатым товарищем. И так вот, зная, как Ярик любит колбасу, я не могу допустить, чтобы он был под диваном. Делаю последний опыт, бросаю вниз не кусочек, а только шкурку и наблюдаю. Но как внимательно я ни смотрю, ничего не могу заметить: шкурка исчезла как будто сама по себе. В другой раз я все-таки добился: видел, как мелькнул язычок.

Ярик тут, под диваном.

Теперь я отрезаю от колбасы круглый конец с носиком, привязываю нитку за носик и тихонечко спускаю вниз между коленками. Язык показался. Я потянул за нитку — язык скрылся. Переждав немного, спускаю опять — теперь показался нос, потом лапы.

Больше нечего в прятки играть: я вижу его и он меня видит. Поднимаю выше кусочек, Ярик поднимается на задние лапы, идет за мной, как человек, на двух ногах, на террасу, спускается по лесенке на четырех по-собачьи, опять поднимается, и так мы подходим к подвалу. Ну, вот теперь он понимает мою страшную затею и ложится на землю пластом, как черепаха. А я отворяю подвальную дверь и говорю:

— Пожалуйте, молодой человек!

Первая стойка

У этого Ромки скорее всего растут лапы и уши. Такие длинные у него выросли угли, что когда вниз посмотрит, так и глаза закрывают, а лапами он часто что-нибудь задевает и сам кувыркается.

Сегодня был такой случай: поднимался он по каменной лестнице из подвала, зацепил своей лапиной полкирпича, и тот покатился вниз, считая ступеньки. Ромушка этому очень удивился и стоял наверху, спустив уши на глаза. Долго он смотрел вниз, поворачивая голову то на один бок, то на другой, чтобы ухо отклонилось от глаза и можно было смотреть.

— Вот штука-то, Роман Василич! — сказал я. — Кирпич-то вроде как живой, ведь скачет!

Рома поглядел на меня умно.

— Не очень-то заглядывайся на меня, — сказал я, — не считай галок, а то он соберется с духом, да вверх поскачет, да тебе даст прямо в нос.

Рома перевел глаза. Ему, наверное, очень хотелось побежать и проверить, отчего это мертвый кирпич вдруг ожил и покатился. Но спуститься туда было очень опасно: что если там кирпич схватит его и утянет вниз навсегда в темный подвал?

— Что же делать-то, — спросил я, — разве удрать?

Рома взглянул на меня только на одно мгновение, и я хорошо его понял, он хотел мне сказать.

[4]

Нет, и это оказывается невозможным. И так Рома долго стоял, и это была его первая стойка по мертвому кирпичу, как большие собаки постоянно делают, когда носом почуют в траве живую дичь.

Чем больше стоял Ромка, тем ему становилось опасней и страшней: по собачьим чувствам выходит так, что чем мертвее затаится враг, тем ужаснее будет, когда он вдруг оживет и прыгнет.

«Перестою», — твердит про себя Ромка.

И чудится ему, будто кирпич шепчет:

«Перележу».

Но кирпичу можно хоть и сто лет лежать, а живому песику трудно, устал и дрожит.

Я спрашиваю:

— Что же делать-то, Роман Василич?

Рома ответил по-своему:

— Разве брехнуть?

— Вали, — говорю, — лай!

Ромка брехнул и отпрыгнул. Верно, со страху ему показалось, будто он разбудил кирпич и тот чуть-чуть шевельнулся.

Стоит, смотрит издали — нет, не вылезает кирпич. Тихонечко подкрадывается, глядит осторожно вниз: лежит.

— Разве еще раз брехнуть?

Брехнул и отпрыгнул.

Тогда на лай прибежала Кэт, Ромина мать, впилась глазами в то место, куда лаял сын, и медленно, с лесенки на лесенку стала спускаться. На это время Ромка, конечно, перестал

лаять, доверил это дело матери и сам глядел вниз много смелее.

Кэт узнала по запаху Роминой лапы след на страшном кирпиче, понюхала его: кирпич был совершенно мертвый и безопасный. Потом, на случай, она постепенно обнюхала все, ничего не нашла подозрительного и, повернув голову вверх, глазами сказала сыну: «Мне кажется, здесь все благополучно».

После того Ромул успокоился и завилял прутиком. Кэт стала подыматься, он нагнал мать и принялся теревить ее за ухо.

Ужасная встреча

[5]

Вокруг на большом пространстве не было ни одного дерева, на которое кот мог бы взобраться и спастись от собаки, — кусты и полянки без конца. Я иду медленно, как черепаха, разбирая следы Ромкиных лап на влажной земле, на грязи, по краям луж и на песке ручьев. Много перешел я полянок, мокрых и сухих, перебрел два ручейка, два болотца, и, наконец, вдруг все открылось: Ромка стоит на поляне неподвижный, с налитыми кровью глазами; против него, очень близко, — тигровый кот, спина горбатым деревенским пирогом, хвост медленно поднимается и опускается. Нетрудно мне было догадаться, о чем они думали.

Тигровый кот говорит:

«Ты, конечно, можешь на меня броситься, но помни, собака, за меня тигры стоят! Попробуй-ка, сунься, пес, и я дам тебе тигра в глаза».

Ромку же я понимал так:

«Знаю, мышатница, что ты дашь мне тигра в глаза, а все-таки я тебя разорву пополам! Вот только позволь мне еще немного подумать, как лучше бы взять тебя».

Думал и я:

«Ежели мне к ним подойти, кот пустится наутек, за ним пустится и Ромка. Если попробовать Ромку позвать...»

Долго раздумывать, однако, было мне некогда. Я решил начать усмирение зверей с разговора по-хорошему. Самым нежным голосом, как дома в комнате во время нашей игры, я назвал Ромку по имени и отчеству:

— Роман Василич!

Он покосился. Кот завыл.

Тогда я крикнул тверже:

— Роман, не дури!

Ромка оробел и сильнее покосился. Кот сильнее провыл.

Я воспользовался моментом, когда Ромка покосился, успел поднять руку над своей головой и так сделать, будто рублю головы и ему, и коту. Увидев это, Ромка подался назад, а кот, полагая, будто Ромка струсил, и втайне, конечно, радуясь этому, провыл с переливом обыкновенную котовую победную песню. Это задело самолюбие Ромки. Он, пятась задом, вдруг остановился и посмотрел на меня, спрашивая.

— Не дать ли ему?

Тогда я еще раз рукой в воздухе отрубил ему голову и во все горло выкрикнул бесповоротное свое решение:

— Тубо!

Он подался еще к кустам, обходом явился ко мне. Так я сломил дикую волю собаки.

А кот убежал.

Ежовые рукавицы

Собака только стоит и указывает, а человек при взлете стреляет. Если же собака при взлете бежит, это не охота. За одной побежит — другую спугнет, третью, да еще и с лаем пустится по болоту турить — охотнику так ничего и не достанется.

Учил я Ромку, чтобы не гонять, и не мог научить.

[6]

— Как же быть с некультурностью? — спросил я.

Кирсан очень странно ответил:

— Некультурность у собак надо ежом изгонять.

Нашли мы ежа. Я пустил Ромку в тетеревиные места, и скоро он стал по тетерке. Я позади Ромки стал, а Кирсан с ежом сбоку. Приказываю:

— Вперед!

Ромка с лапки на лапку: раз, два, три...

Ту-ту-ту! — вылетела.

— Назад! — кричу Ромке.

Ничего не помнит, ничего не слышит. Бросился. И тут-то Кирсан на прыжке сбоку прямо в нос ему ежа. Ромка опомнился, взвизгнул — и на ежа. А ёж ему своими колючками еще здорово поддал. И мы на Ромку и приговариваем:

— Помни ежа, помни ежа!

С тех пор, когда птица взлетает, я говорю негромко:

— Ромка, помни ежа!

Он и опомнится.

Однажды я спросил Кирсана:

— Как это вы, Кирсан Николаевич, пришли к такой догадке, чтобы некультурность ежом изгонять?

— С себя самого перевел, Михайло Михайлович, — ответил Кирсан. — В детстве соседям окна бил из рогатки. Раз поймали меня и говорят: «Этого мальчишку надо взять в ежовые рукавицы!» И взяли. А потом это с себя я на собак перевел с большой пользой.

Лада

[7]

— Осторожней! — предупредил меня старый егерь Камолов.

И рассказал мне, что у его свата случай был: тоже вот так дунул на собаку, а она его за нос, и так человек на всю жизнь остался без носа!

Хозяин Лады очень обрадовался, что собака нам понравилась: он не понимал охоты и рад был продать ненужную собаку.

— Какие умные глаза! — обратил мое внимание Камолов.

— Умница! — подтвердил племянник. — Ты, дядя Николай, главное, хлещи ее, хвощи как ни можно сильней, она все поймет.

Мы посмеялись с егерем этому совету, взяли Ладу и отправились в лес пробовать ее поиск, чутье. Конечно, мы действовали исключительно лаской, давали по кусочку сала за хорошую работу, за плохую — самое большее пальцем грозили. В один день умная собака поняла всю нашу премудрость, а чутье, наверно, ей досталось от деда, Камбиза: чутье небывалое! Весело было возвращаться на хутор: не так-то легко ведь найти собаку такую прекрасную.

— Не Ладой бы ее звать, а Находкой: настоящая находка! — повторял Камолов.

Итак, мы оба очень радостные приходим в сторожку.

— А где же Лада? — спросил нас удивлённо хозяин.

Глянули мы — и видим: действительно с нами нет Лады. Все время шла с нами, а как вот к дому подошла, как провалилась сквозь землю. Звали, манили, ласково и грозно: нет и нет.

Так вот и ушли с одним горем. А хозяину тоже не сладко. Так нехорошо вышло. Хотели хоть что-нибудь хозяину дать — нет, не берет.

— Только собрались Находкой назвать, — сказал Камолов.

— Не иначе как леший увел! — посмеялся на прощание племянник.

И только мы без хозяина прошли шагов двести по лесу, вдруг из кустика выходит Лада.

Какая радость! Мы, конечно, назад, к хозяину. И только повернули, вдруг опять Лады нет, опять — как сквозь землю. Но в этот раз мы больше ее не искали, мы, конечно, поняли: хозяин колотил ее, а мы ласкали и охотились, вот она и пряталась, вот и все... И как только мы повернули домой, Лада, конечно, из куста явилась. По пути домой мы много смеялись, вспоминая слова хозяина: «Хлещи, дядя Николай, хвощи как ни можно сильней, она все поймет!»

И поняла!

Зверь бурундук

Раз я на Дальнем Востоке шел очень тихо по тропинке и, сам не зная того, остановился возле притаившихся оленей. Они надеялись, что я не замечу их под деревьями с широкими листьями, в густой траве. Но, случилось, олений клещ больно укусил маленького теленка; он дрогнул, трава качнулась, и я увидел его и всех. Тут-то вот я и понял, почему у оленей пятна. День был солнечный, и в лесу на траве были «зайчики» — точно такие же, как у оленей и ланей. С такими «зайчиками» легче затаиться. Но долго я не мог понять, почему у оленя назади возле хвоста большой белый кружок вроде салфетки, а если олень испугается и бросится бежать, то эта салфетка становится еще шире, еще много заметнее. Для чего оленю эти салфетки? Думал я об этом и вот как догадался.

Однажды мы поймали диких оленей и стали их кормить в домашнем питомнике бобами и кукурузой. Зимой, когда в тайге с таким трудом оленю достается корм, они ели у нас готовое и самое любимое, самое вкусное в питомнике блюдо. И они до того привыкли, что, как завидят у нас мешок с бобами, бегут к нам и толпятся возле корыта, И так жадно суют морды и спешат, что бобы и кукуруза часто падают из корыта на землю. Голуби это уже заметили — прилетают клевать зерна под самыми копытами оленей. Тоже прибегают собирать падающие бобы бурундуки, эти небольшие, совсем похожие на белку полосатые прехорошенькие зверьки. Трудно передать, до чего ж пугливы эти пятнистые олени и что только может им представиться. В особенности же пуглива у нас была самка, наша красавица Хуа-Лу.

Случилось раз, она ела бобы в корыте рядом с другими оленями. Бобы падали на землю, голуби и бурундуки бегали возле самых копыт оленей. Вот Хуа-Лу нечаянно наступила копытцем на пушистый хвост одного зверька, и этот бурундук в ответ впился в ногу оленя. Хуа-Лу вздрогнула, глянула вниз, и ей, наверно, бурундук представился чем-то ужасным. Как она бросится! И за ней разом все на забор, и — бух! — забор наш повалился.

Маленький зверек бурундук, конечно, сразу отвалился, но для испуганной Хуа-Лу теперь за ней бежал, неся по ее следам не маленький, а огромный зверь бурундук. Другие олени ее понимали по-своему и вслед за ней стремительно неслись. И все бы эти олени убежали и весь наш большой труд пропал бы, но у нас была немецкая овчарка Тайга, хорошо приученная к этим оленям. Мы пустили вслед за ними Тайгу. В безумном страхе неслись олени, и, конечно, они думали, что не собака за ними бежит, а все тот же страшный, огромный зверище бурундучище.

У многих зверей есть такая повадка, что если их гонят, то они бегут по кругу и возвращаются на то же самое место. Так охотники зайцев гоняют с собаками: заяц почти всегда прибегает на то же самое место, где лежал, и тут его встречает стрелок. И олени так неслись долго по горам и долам и вернулись к тому же самому месту, где им хорошо живется — и сытно и тепло. Так вот и вернула нам оленей отличная, умная собака Тайга. Но я чуть было и не забыл о белых салфетках, из-за чего я завел этот рассказ. Когда Хуа-Лу бросилась через упавший забор и от страха у ней назади белая салфетка стала много шире, много заметней, то в кустах только и видна была одна эта мелькающая белая салфетка. По этому белому пятну бежал за ней другой олень и сам тоже показывал следующему за ним оленю свое белое пятно. Вот тут-то я и догадался впервые, для чего

служат эти белые салфетки пятнистым оленям. В тайге ведь не только бурундук — там и волк, и леопард, и сам тигр. Один олень заметит врага, бросится, покажет белое пятнышко и спасает другого, а этот спасает третьего, и все вместе приходят в безопасные места.

Белый ожерелёнок

Жил на берегу Байкала один сторож, рыбу ловил, белок стрелял. И вот раз будто бы видит в окошко этот сторож — бежит прямо к избе большой медведь, а за ним гонится стая волков. Вот-вот бы и конец медведю... Он, мишка этот, не будь плох, в сени, дверь за ним сама закрылась, а он еще на нее лапу и сам привалился. Старик, поняв это дело, снял винтовку со стены и говорит:

— Миша, Миша, поддержи!

Волки лезут на дверь, а старик выцеливает волка в окно и повторяет:

— Миша, Миша, поддержи!

Так убил одного волка, и другого, и третьего, все время приговаривая:

— Миша, Миша, поддержи!

После третьего стая разбежалась, а медведь остался в избе зимовать под охраной старика.

Весной же, когда медведи выходят из своих берлог, старик будто бы надел на этого медведя белый ожерёлок и всем охотникам наказал, чтобы медведя этого — с белым ожерёлком — никто не стрелял: этот медведь — его друг.

Разговор птиц и зверей

Такая охота с флагами много добычливей, чем с гончими собаками. А эта зима была такая снежная, с таким рыхлым снегом, что собака тонула вся по уши и гонять лисиц с собакой стало невозможно. Однажды, измучив себя и собаку, я сказал егерю Михал Михалычу:

— Бросим собак, заведем флаги — ведь с флагами можно каждую лисицу убить.

— Как это каждую? — спросил Михал Михалыч.

— Так просто, — ответил я. — После пороши возьмем свежий след, обойдем, затянем круг флагами, и лисица наша.

— Это было в прежнее время, — сказал егерь. — Бывало, лисица суток трое сидит и не смеет выйти за флаги. Что лисица! Волки сидели по двое суток! Теперь звери стали умнее, часто с гону прямо под флаги, и прощай.

— Я понимаю, — ответил я, — что звери матерые, не раз уже бывшие в переделке, поумнели и уходят под флаги, но ведь таких сравнительно немного, большинство, особенно молодежь, флагов и не видывали.

— Не видывали! Им и видеть не нужно. У них есть разговор.

— Какой такой разговор?

ю

— А как ты думаешь?

— Я думаю, — ответил Михал Михалыч, — звери читают.

— Читают?

о

Мне, конечно, как всякому охотнику, приходилось пользоваться чекотанием сороки, но Михал Михалыч рассказал особенный случай. Раз у него на заячьем гону скололись собаки. Заяц вдруг будто провалился сквозь землю. Тогда, совсем в другой стороне, зачекотала сорока. Егерь, крадучись, идет к сороке, чтобы она его не заметила. А это было зимой, когда все зайцы уже побелели, только снег весь растаял, и белые на земле стали далеко заметны. Егерь глянул под дерево, на котором чекотала сорока, и видит: белый просто лежит на зеленом мошку, и глазенки черные, как две бобины, глядят...

Сорока выдала зайца, но она и человека выдает зайцу и всякому зверю, только бы кого ей первого заметить.

[8]

Гаечки

Тогда я заметил, что ветер несет на меня опилки и они тут же ложатся дорожкой в направлении ветра. Значит, в той стороне, откуда был ветер, кто-то работал над сухим деревом.

гайки

«Ты, — говорила она, — лежи и молчи, а я буду около него пищать, он погонится за мной, я полечу, и ты тогда не зевай».

Я не стал мучить птичку, отошел в сторону и наблюдал, что будет дальше. Мне пришлось стоять довольно долго, потому что свободная гайка видела меня и предупреждала пленную: — Лучше полежи немного, а то он тут, недалеко, стоит и смотрит.

Так я очень долго стоял, пока наконец свободная гайка не пропищала совсем особенным голосом, как я догадываюсь:

— Вылезай, ничего не поделаешь: стоит.

Хвост исчез. Показалась головка с черной полоской на щеке. Пискнула:

— Где же он?

— Вон стоит, — пискнула другая. — Видишь?

— А, вижу! — пискнула пленница.

И выпорхнула.

Они отлетели всего несколько шагов и, наверно, успели шепнуть друг другу:

— Давай посмотрим, может быть, он и ушел.

Сели на верхнюю ветку. Всмотрелись.

— Стоит, — сказала одна.

— Стоит, — сказала другая.

И улетели.

Птицы под снегом

Тетерев под снегом не бегают, ему бы только спрятаться от непогоды. Ходов больших, как у рябчика под снегом, у тетеревов не бывает, но устройство квартиры тоже аккуратное: назади отхожее место, впереди дырочка над головой для воздуха.

Серая куропатка у нас не любит зарываться в снег и летает ночевать в деревню на гумна. Перебудет куропатка в деревне ночь с мужиками и утром летит кормиться на то же самое место. Куропатка, по моим приметам, или дикость свою потеряла, или же от природы неумная. Ястреб замечает ее перелеты, и, бывает, она только вылетать собирается, а ястреб уже дожидается ее на дереве.

Тетерев, я считаю, много умнее куропатки. Раз было со мной в лесу. Иду я на лыжах; день красный, хороший мороз. Открывается передо мной большая поляна, на поляне высокие березы, и на березах тетерева кормятся почками. Долго я любовался, но вдруг все тетерева бросились вниз и зарылись в снег под березами. В тот же миг является ястреб, ударился на то место, где зарылись тетерева, и заходил. Но вот прямо же над самими тетеревами ходит, а догадаться не может копнуть ногой и схватить. Мне это было очень любопытно, думаю: «Ежели он ходит, значит, их чувствует под собой, и ум у ястреба велик, а такого нет, чтобы догадаться и копнуть лапой на какой-нибудь вершок-два в снегу, значит, это ему не дано».

Ходит и ходит.

[9]

Я много всего в лесу насмотрелся, мне все это просто, но все-таки дивлюсь на ястреба: такой умнейший, а на этом месте оказался таким дураком. Но всех дурашливей я считаю куропатку. Избаловалась она между людьми на гумнах, нет у нее, как у тетерева, чтобы, увидев ястреба, со всего маху броситься в снег. Куропатка от ястреба только голову спрячет в снег, а хвост весь на виду. Ястреб берет ее за хвост и тащит, как повар на сковороде.

Беличья память

Что за чудо? Нельзя же подумать, чтобы она чуяла запах ореха через толстый слой снега и льда. Значит, помнила с осени о своих орехах и точное расстояние между ними.

Но самое удивительное — она не могла отмеривать, как мы, сантиметры, а прямо на глаз с точностью определяла, ныряла и доставала. Ну как было не позавидовать беличьей памяти и смекалке!

Лягушонок

В полдневных лучах на какой-нибудь час или два оживают на снегу разные жучки, паучки, блошки, даже комарики перелетают. Случилось, талая вода проникла в глубь снега и разбудила спящего на земле под снежным одеялом маленького розового лягушонка. Он выполз из-под снега наверх, решил по глупости, что началась настоящая весна, и отправился путешествовать. Известно, куда путешествуют лягушки: к ручейку, к болотцу. Случилось, в эту ночь как раз хорошо припорошило, и след путешественника легко можно было разобрать. След вначале был прямой, лапка за лапкой, к ближайшему болотцу. Вдруг почему-то след сбивается, дальше больше и больше. Потом лягушонок мечется туда и сюда, вперед и назад, след становится похожим на запутанный клубок ниток.

Что случилось, почему лягушонок вдруг бросил свой прямой путь к болоту и пытался вернуться назад?

Чтобы разгадать, распутать этот клубок, мы идем дальше и вот видим — сам лягушонок, маленький, розовый, лежит, растопырив безжизненные лапки.

Теперь все понятно. Ночью мороз взялся за вожжи и так стал подхлестывать, что лягушонок остановился, сунулся туда, сюда и круто повернул к теплой дырочке, из которой почуял весну.

В этот день мороз еще крепче натянул свои вожжи, но ведь в нас самих было тепло, и мы стали помогать весне. Мы долго грели лягушонка своим горячим дыханием — он все не оживал. Но мы догадались: налили теплой воды в кастрюльку и опустили туда розовое тельце с растопыренными лапками.

Крепче, крепче натягивай, мороз, свои вожжи — с нашей весной ты теперь больше не справишься. Не больше часа прошло, как наш лягушонок снова почуял своим тельцем весну и шевельнул лапками. Вскоре и весь он ожил.

Когда грянул гром и всюду зашевелились лягушки, мы выпустили нашего путешественника в то самое болотце, куда он хотел попасть раньше времени, и сказали ему в напутствие: — Живи, лягушонок, только, не зная броду, не суйся в воду.

Остров спасения

На великом разливе Волги там и тут виднелись копеечки незалитой земли, иногда голые, иногда с кустарником, иногда с высокими деревьями. Почти ко всем этим копеечкам жались утки разных пород, и на одной косе длинным рядом, один к одному, гляделись в воду гуси-гуменники. Там, где земля была совсем затоплена и от бывшего леса торчали только вершинки, как частая шерсть, всюду эти шерстинки покрывались разными зверьками. Зверьки иногда сидели на ветках так густо, что обыкновенная какая-нибудь веточка ивы становилась похожа на гроздь черного крупного винограда.

Водяная крыса плыла к нам, наверно, очень издалека и, усталая, прислонилась к ольховой веточке. Легкое волнение воды пыталось оторвать крысу от ее пристани. Тогда она поднялась немного по стволу, села на развилочку.

Тут она прочно устроилась: вода не доставала ее. Только изредка большая волна, «девятый вал», касалась ее хвоста, и от этих прикосновений в воде рождались и уплывали кружочки.

А на довольно-таки большом дереве, стоящем, наверно, под водой на высоком пригорке, сидела жадная, голодная ворона и выискивала себе добычу. Невозможно бы ей было углядеть в развилочке водяную крысу, но на волне от соприкосновения с хвостом плыли кружочки, и вот эти-то кружочки и выдали вороне местопребывание крысы. Тут началась война не на живот, а на смерть.

Несколько раз от ударов клюва вороны крыса падала в воду, и опять взбиралась на свою развилочку, и опять падала. И вот совсем было уже удалось вороне схватить свою жертву, но крыса не желала стать жертвой вороны.

Собрав последние силы, так ущипнула ворону, что из нее пух полетел, и так сильно, будто ее дробью хватили. Ворона даже чуть не упала в воду и только с трудом справилась, ошалелая села на свое дерево и стала усердно оправлять свои перья, по-своему залечивать раны. Время от времени от боли своей, вспоминая о крысе, она оглядывалась на нее с таким видом, словно сама себя спрашивала: «Что это за крыса такая? Будто так никогда со мной не бывало!»

Между тем водяная крыса после счастливого своего удара вовсе даже и забыла думать о вороне. Она стала навастривать бисерок своих глазок на желанный наш берег.

Срезав себе веточку, она взяла ее передними лапками, как руками, и зубами стала грызть, а руками повертывать. Так она обглодала дочиста всю веточку и бросила ее в воду. Новую же срезанную веточку она не стала глотать, а прямо с ней спустилась вниз и поплыла и потащила веточку на буксире. Все это видела, конечно, хищная ворона и провожала храбрую крысу до самого нашего берега.

Однажды мы сидели у берега и наблюдали, как из воды выходили землеройки, полёвки, водяные крысы, и норки, и заюшки, и горностаюшки, и белки тоже сразу большой массой приплыли и все до одной держали хвостики вверх.

Каждую зверушку мы, как хозяева острова, встречали, принимали с родственным вниманием и, поглядев, пропускали бежать в то место, где полагается жить ее породе. Но напрасно мы думали, что знаем всех наших гостей. Новое знакомство началось словами Зиночки.

— Поглядите, — сказала она, — что же это делается с нашими утками!

Эти наши утки выведены от диких, и мы возили их для охоты: утки кричат и подманивают диких селезней на выстрел.

Глянули на этих уток и видим, что они отчего-то стали много темнее и, главное, много толще.

— Отчего это? — стали мы гадать, додумываться.

И пошли за ответом на загадку к самим уткам. Тогда оказалось, что для бесчисленного множества плывущих по воде в поисках спасения паучков, букашек и всяких насекомых наши утки были двумя островами, желанной сушей.

Они взбирались на плавающих уток в полной уверенности, что наконец-то достигли надежного пристанища и опасное странствование их по водам кончено. И так их было много, что утки наши толстели и толстели заметно у нас на глазах.

Так наш берег стал островом спасения для всех зверей — больших и маленьких.

Лоси

— Да какие они, лоси-то? — спросил кто-то из нас.

— Хорошенькие, — ответил дед.

— Ну, какие же они хорошенькие! — сказал я. — Огромные, а ножки тонкие, голова носатая, рога — как лопаты. Скорее безобразные.

— Очень хорошенькие, — настаивает дед. — Раз было, по убылой воде, вижу, лосиха плывет с двумя лосятами. А я за кустом. Хотел было бить в нее из ружья, да подумал: деться ей некуда, пусть выходит на берег. Ну вот, она плывет, а дети за ней не поспевают, а возле берега мелко: она идет по грязи, а они тонут, отстали. Мне стало забавно. Возьму-ка, думаю, покажусь ей: что, убежит она или не кинет детей?

— Да ведь ты же убить ее хотел?

— Вот вспомнил! — удивился дед. — Я в то время забыл, все забыл, только одно помню: убежит она от детей или то же и у них, как у нас. Ну, как вы думаете?

— Думаю, — сказал я, вспоминая разные случаи, — она отбежит к лесу и оттуда, из-за деревьев или с холма, будет наблюдать или дожидаться.

— Нет, — перебил меня дед. — Оказалось, у них, как и у нас. Мать так яро на меня поглядела, а я на нее острой махнул. Думал — убежит, а лосенков я себе захвачу. А ей хоть бы что — и прямо на меня идет и яро глядит. Лосята еще вытаскивают ножонки из грязи. И что же вы подумаете? Что они делать стали, когда вышли на берег?

— Мать сосать?

— Нет, как вышли на берег — прямо играть. Шагов я на пять подъехал к ним на ботничке, и гляжу, и гляжу — чисто дети. Один был особенно хорош. Долго играли, а когда наигрались, то к матке, и она их повела, и пошли они покойно, пошли и пошли...

— И ты их не тронул?

— Так вот и забыл, как все равно мне руки связали. А в руке острога. Стоило бы только двинуть рукой...

— Студень-то какой! — сказал я.

Дед с уважением поглядел на меня и ответил:

— Студень из лосенков правда хорош. Только уж такие они хорошенькие... Забыл и про студень!

Этажи леса

Мне пришлось однажды наблюдать в лесу, что у них, зверушек и птиц, с этажами не как у нас в небоскребах: у нас всегда можно с кем-нибудь перемениться, у них каждая порода живет непременно в своем этаже.

Однажды на охоте мы пришли к полянке с погибшими березами. Это часто бывает, что березы дорастут до какого-то возраста и засохнут.

Другое дерево, засохнув, роняет на землю кору, и оттого непокрытая древесина скоро гниет и все дерево падает; у березы же кора не падает; эта смолистая, белая снаружи кора — береста — бывает непроницаемым футляром для дерева, и умершее дерево долго стоит, как живое.

Даже когда и сгниет дерево и древесина превратится в труху, отяжеленную влагой, с виду белая береза стоит, как живая. Но стоит, однако, хорошенько толкнуть такое дерево, как вдруг оно разломится все на тяжелые куски и падает. Валить такие деревья — занятие очень веселое, но и опасное: куском дерева, если не увернешься, может здорово хватить тебя по голове. Но все-таки мы, охотники, не очень боимся и когда попадаем к таким березам, то друг перед другом начинаем их рушить.

Так пришли мы к полянке с такими березами и обрушили довольно высокую березу. Падая, в воздухе она разломилась на несколько кусков, и в одном из них было дупло с гнездом гаечки. Маленькие птенчики при падении дерева не пострадали, только вместе со своим гнездышком вывалились из дупла. Голые птенцы, покрытые пенышками, раскрывали широкие красные рты и, принимая нас за родителей, пищали и просили у нас червячка. Мы раскопали землю, нашли червячков, дали им перекусить; они ели, глотали и опять пищали. Очень скоро прилетели родители, гаечки-синички, с белыми пухлыми щечками и с червячками во ртах сели на рядом стоящих деревьях.

— Здравствуйте, дорогие, — сказали мы им, — вышло несчастье: мы этого не хотели. Гаечки ничего не могли нам ответить, но, самое главное, не могли понять, что такое случилось, куда делось дерево, куда исчезли их дети.

Нас они нисколько не боялись, порхали с ветки на ветку в большой тревоге.

— Да вот же они! — показывали мы им гнездо на земле. — Вот они, прислушайтесь, как они пищат, как зовут вас!

Гаечки ничего не слушали, суетились, беспокоились и не хотели спуститься вниз и выйти за пределы своего этажа.

— А может быть, — сказали мы друг другу, — они нас боятся. Давай спрячемся! — И спрятались.

Нет! Птенцы пищали, родители пищали, порхали, но вниз не спускались.

Мы догадались тогда, что у птичек не как у нас в небоскребах, они не могут перемениться этажами: им теперь просто кажется, что весь этаж с их птенцами исчез.

— Ой-ой-ой, — сказал мой спутник, — ну какие же вы дурачки!..

Жалко стало и смешно: такие славные и с крылышками, а понять ничего не хотят.

Тогда мы взяли тот большой кусок, в котором находилось гнездо, сломили верх соседней березы и поставили на него наш кусок с гнездом как раз на такую высоту, на какой находился разрушенный этаж. Нам недолго пришлось ждать в засаде: через несколько

минут счастливые родители встретили своих птенчиков.

Берестяная трубочка

Но сегодня мне захотелось посмотреть, нет ли чего в такой трубочке.

И вот в первой же трубочке я нашел хороший орех, так плотно прихваченный, что с трудом удалось палочкой его вытолкнуть.

Вокруг березы не было орешника. Как же он туда попал?

«Наверно, белка его туда спрятала, делая зимние свои запасы, — подумал я. — Она знала, что трубка будет все плотнее и плотнее свертываться и все крепче прихватывать орех, чтоб не выпал».

Но после я догадался, что это не белка, а птица ореховка воткнула орех, может быть украв из гнезда белки.

Разглядывая свою берестяную трубочку, я сделал еще одно открытие: под прикрытием ореха поселился — кто бы мог подумать? — паучишка и всю внутренность трубочки затянул своей паутиной.

О чем шепчутся раки

И когда скажут: «Раки перешептались», это значит — они умерли и вся их рачья жизнь в шепот ушла.

В нашей речке Вертушинке раньше, в мое время, раков было больше, чем рыбы. И вот однажды бабушка Домна Ивановна с внучкой своей Зиной собрались к нам на Вертушинку за раками. Бабушка с внучкой пришли к нам вечером, отдохнули немного — и на реку. Там они расставили свои рачьи сеточки. Эти рачьи сачки у нас все делают сами: загибается ивовый прутик кружком, кружок обтягивается сеткой от старого невода, на сетку кладется кусочек мяса или чего-нибудь, а лучше всего кусочек жареной и духовитой для раков лягушки. Сеточки опускают на дно. Учув запах жареной лягушки, раки вылезают из береговых печур, ползут на сетки. Время от времени сачки за веревки вытаскивают кверху, снимают раков и опять опускают.

Простая эта штука. Всю ночь бабушка с внучкой вытаскивали раков, наловили целую большую корзину и утром собрались назад, за десять верст к себе в деревню. Солнышко взошло, бабушка с внучкой идут, распарились, разморились.

Им уж теперь не до раков, только бы добраться домой.

— Не перешептались бы раки, — сказала бабушка.

Зина прислушалась.

Раки в корзинке шептались за спиной бабушки.

— О чем они шепчутся? — спросила Зина.

— Перед смертью, внученька, друг с другом прощаются.

А раки в это время совсем не шептались. Они только терлись друг о друга шершавыми костяными бочками, клешнями, усиками, шейками, и от этого людям казалось, будто от них шепот идет. Не умирать раки собирались, а жить хотели. Каждый рак все свои ножки пускал в дело, чтобы хоть где-нибудь найти дырочку, и дырочка нашлась в корзинке, как раз чтобы самому крупному раку пролезть. Один рак вылез крупный, за ним более мелкие шутя выбрались, и пошло, и пошло: из корзинки — на бабушкину кацавейку, с кацавейки — на юбку, с юбки — на дорожку, с дорожки — в траву, а из травы — рукой подать речка.

Солнце палит и палит. Бабушка с внучкой идут и идут, а раки ползут и ползут. Вот подходят Домна Ивановна с Зиной к деревне. Вдруг бабушка остановилась, слушает, что в корзинке у раков делается, и ничего не слышит. А что корзинка-то легкая стала, ей и невдомек: не спавши ночь, до того уходилась старуха, что и плеч не чует.

— Раки-то, внученька, — сказала бабушка, — должно быть, перешептались.

— Померли? — спросила девочка.

— Уснули, — ответила бабушка, — не шепчутся больше.

Пришли к избе, сняла бабушка корзинку, подняла тряпку:

— Батюшки родимые, да где же раки-то?

Зина заглянула — корзина пустая.

Поглядела бабушка на внучку — и только руками развела.

— Вот они, раки-то, — сказала она, — шептались! Я думала — они это друг с другом перед смертью, а они это с нами, дураками, прощались.

Медведь

Медведи, как и всякий зверь, ходят по лесу с великой осторожностью и, зачуйв человека, так удирают от него, что не только всего зверя, а не увидишь даже и мелькнувшего хвостика.

Однажды на Севере мне указали место, где много медведей. Это место было в верховьях реки Коды, впадающей в Пинегу. Убивать медведя мне вовсе не хотелось, и охотиться за ним было не время: охотятся зимой, я же пришел на Коду ранней весной, когда медведи уже вышли из берлог.

Мне очень хотелось застать медведя за едой, где-нибудь на полянке, или на рыбной ловле на берегу реки, или на отдыхе. Имея на всякий случай оружие, я старался ходить по лесу так же осторожно, как звери, затаивался возле теплых следов; не раз мне казалось, будто мне даже и пахло медведем... Но самого медведя, сколько я ни ходил, встретить мне в тот раз так и не удалось.

Случилось наконец, терпение мое кончилось, и время пришло мне уезжать. Я направился к тому месту, где была у меня спрятана лодка и продовольствие. Вдруг вижу: большая еловая лапка передо мной дрогнула и закачалась сама.

«Зверушка какая-нибудь», — подумал я.

Забрав свои мешки, сел я в лодку и поплыл.

А как раз против места, где я сел в лодку, на том берегу, очень крутом и высоком, в маленькой избушке жил один промысловый охотник. Через какой-нибудь час или два этот охотник поехал на своей лодке вниз по Коде, нагнал меня и застал в той избушке на полпути, где все останавливаются.

Он-то вот и рассказал мне, что со своего берега видел медведя, как он вымахнул из тайги как раз против того места, откуда я вышел к своей лодке. Тут-то вот я и вспомнил, как при полном безветрии закачались впереди меня еловые лапки.

Досадно мне стало на себя, что я подшумел медведя. Но охотник мне еще рассказал, что медведь не только ускользнул от моего глаза, но еще и надо мной посмеялся... Он, оказывается, очень недалеко от меня отбежал, спрятался за выворотень и оттуда, стоя на задних лапах, наблюдал меня: и как я вышел из леса, и как садился в лодку и поплыл. А после, когда я для него закрылся, взлез на дерево и долго следил за мной, как я спускаюсь по Коде.

— Так долго, — сказал охотник, — что мне надоело смотреть и я ушел чай пить в избушку.

Досадно мне было, что медведь надо мной посмеялся. Но еще досадней бывает, когда болтуны разные пугают детей лесными зверями и так представляют их, что покажись будто бы только в лес без оружия — и они оставят от тебя только рожки да ножки.

Таинственный ящик

— Бывают ли у вас случаи, чтобы волки нападали на человека?

— Бывают, — ответил он. — Да что из этого? У человека оружие, человек — сила, а что волк! Собака, и больше ничего.

— Однако, если эта собака да на безоружного человека...

— И то ничего! — засмеялся партизан. — У человека самое сильное оружие — ум, находчивость и в особенности такая оборотливость, чтобы из всякой вещи сделать себе оружие. Раз было, один охотник простой ящик превратил в оружие.

Партизан рассказал случай из очень опасной охоты на волков с поросенком. Лунной ночью сели в сани четыре охотника и захватили с собой ящик с поросенком. Ящик был большой, сшитый из полутеса. В этот ящик без крышки посадили поросенка и поехали в степь, где волков великое множество. А было это зимой, когда волки голодные. Вот охотники выехали в поле и начали поросенка тянуть кто за ухо, кто за ногу, кто за хвост. Поросенок от этого стал визжать: больше тянут — больше визжит, и все звонче и звонче, и на всю степь. Со всех сторон на этот поросежий визг стали собираться волчьи стаи и настигать охотничьи сани. Когда волки приблизились, вдруг лошадь их почуяла — и как хватит! Так и полетел из саней ящик с поросенком, и, самое скверное, вывалился один охотник без ружья и даже без шапки.

Часть волков умчалась за взбешенной лошадей, другая же часть набросилась на поросенка, и в один миг от него ничего не осталось. Когда же эти волки, закусив поросенком, захотели приступить к безоружному человеку, вдруг глядят, а человек этот исчез и на дороге только ящик один лежит вверх дном. Вот пришли волки к ящику и видят: ящик-то не простой — ящик движется с дороги к обочине и с обочины в глубокий снег. Пошли волки осторожно за ящиком, и как только этот ящик попал на глубокий снег, на глазах волков он стал ниже и ниже.

Волки оробели, но, постояв, оправились и со всех сторон ящик окружили. Стоят волки и думают, а ящик все ниже да ниже. Ближе волки подходят, а ящик не дремлет: ниже да ниже. Думают волки: «Что за диво? Так будем дожидаться — ящик и вовсе под снег уйдет».

Старший волк осмелился, подошел к ящику, приставил нос свой к щелке...

И только он свой волчий нос приставил к этой щелке, как дунет на него из щелки! Сразу все волки бросились в сторону, какой куда попал, и тут же вскоре охотники вернулись на помощь, и человек живой и здоровый вышел из ящика.

— Вот и все, — сказал партизан. — А вы говорите, что безоружному нельзя против волков выходить. На то и ум у человека, чтобы он из всего мог себе делать защиту.

— Позволь, — сказал я, — ты мне сейчас сказал, что человек из-под ящика чем-то дунул.

— Чем дунул? — засмеялся партизан. — А словом своим человеческим дунул, и они разбежались.

— Какое же это слово такое он знал против волков?

— Обыкновенное слово, — сказал партизан. — Какие слова говорят в таких случаях: «Дураки вы, волки», сказал, — и больше ничего.

Вася Веселкин

— Вставай, Жулька! — приказал я.

И она подошла ко мне, моя любимая молодая собака, белый сеттер в частых черных пятнышках.

Я пристегнул карабинчиком к ошейнику длинный поводок, намотанный на катушку, и начал Жульку учить охоте (натаскивать) сначала по курам. Учение это состоит в том, чтобы собака стояла и смотрела на кур, но не пыталась бы курицу схватить.

Вот мы и пользуемся этой потяжкой собаки для того, чтобы она указывала место, где спряталась дичь, и не совалась за нею вперед, а стояла. Такое поведение собаки называется у охотников стойкой: собака стоит, а он сам стреляет или накрывает сеткой дичь.

Непонятная сила, влекущая собаку к курице, у охотников называется потяжкой. Только не надо думать, что собаку тянет желание полакомиться курицей или какой-нибудь другой птицей. Нет, ее тянет страстное желание все живое, все способное двигаться, бежать, плыть, лететь остановить в своем движении.

Вот так и вышли на черную горячую землю белые куры, и Жульку к ним потянуло. Медленно приближаясь, Жулька остановилась перед одной курицей в двух или трех метрах. Когда же она так сделала стойку, я перестал отпускать поводок и крепко зажал его в руке. Постояв некоторое время, Жулька сунулась, чтобы схватить курицу, и та с криком взлетела, а я так сильно дернул за поводок, что Жулька опрокинулась на спину.

Так сурово, для острастки, я поступил только раз.

— Лежать! — крикнул я в следующий раз, когда она опять сунулась.

И она, приученная к «лежать!» еще зимой в комнате, легла.

И пошло так у нас изо дня в день, и в какую-то одну неделю я натаскал Жульку отлично по курам. Свободно пуская собаку, я иду по деревне, она делает стойку по курице и одним глазом глядит на нее, а другим следит за мной: как только я начну выходить из ее поля зрения, она бросает курицу и бежит ко мне.

Кроме кур, в нашей деревне никаких домашних птиц нет. Мы живем на берегу Москвы-реки, повыше Рублевского водохранилища, обеспечивающего Москву-столицу питьевой водой. Чтобы не загрязнять воду, у нас в деревне запрещено держать водоплавающую птицу. И я, хорошо натаскав Жульку по курам, совсем упустил из виду, что в селе на другой стороне реки один хозяин держит гусей.

Вот и не могу сейчас сказать, по какому это праву он их держит и почему никто не вступится за чистоту московской питьевой воды. Думаю, скорее всего, люди в колхозе были очень заняты, им было не до гусей, да и гусиный хозяин, может быть, неплохой был человек, ни с кем не ссорился — вот и терпели гусей до поры до времени. Я и сам совсем забыл об этих гусях и спокойно шел, пуская Жульку свободно бегать перед собою справа налево и обратно, слева направо.

Ничего худого не подозревая, мы вышли в конце деревни в прогон к реке. Небольшой холмик разделял нас от реки, и по нему кверху поднималась по травке белая тропка — след больших и маленьких человеческих ног, босых и обутых. Жулька пустилась вверх по этой тропе. На мгновение она показалась мне вся вверху на фоне голубого неба. У нее была

поза именно такая напряженная, как бывает у собаки на стойке. Не успел я ей крикнуть свое обычное «лежать!», как она вдруг сорвалась и бросилась со всех ног вниз по другой, невидимой мне, стороне холма. Вскоре потом послышался всплеск воды и вслед за тем крик, шум, хлопанье по воде крыльев такое, будто бабы на помосте вальком лупили белье. Я бежал наверх и вслед за ударами сердца своего повторял про себя:

«Ая-яй! Ая-яй! Ая-яй!»

Это потому я так испугался, что очень много в своей жизни страдал. Задерет собака какую-нибудь животину, и ничем не откупишься: так изругают, так осрамят, что весь сморщишься, как сушеный гриб.

Добежав до вершины холма, я увидел зрелище, потрясающее для учителя легавой собаки: Жулька плавала по воде, делая попытки схватить того или другого гуся. Смятение было ужасающее: гусиное гоготанье, хлопанье крыльев, пух гусиный, летающий в воздухе. Звук моего свистка и крики были совершенно бессильны: настигнув одного гуся, Жулька пускала из него пух, а гусь, подстегнутый щипком, набирал силу и, помогая себе крыльями, частью водой, частью по воздуху уклонялся от второго щипка. Тогда Жулька повертывалась к другому гуся, пускала пух из него...

Пух, как снег, летел над рекой.

Ужасно было, что в разлив воды еще невозможно было сделать обычные мостки через реку, и я не мог приблизиться хоть сколько-нибудь к месту действия: все происходило на самой середине широко разлившейся Москвы-реки.

Всех гусей было восемь. Я не только успел всех сосчитать, но положение каждого гуся представлял себе, как представляет полководец положение всех частей его войска. У меня вся надежда была на гусей, что какой-нибудь гусак, раздраженный, наконец озлится и сам попробует Жульку щипнуть. Она такая трусиха! Если бы хоть один гусь сделал такую попытку! Жулька бы немедленно пустилась ко мне под защиту от клюва храброго гуся...

И вот, казалось мне, один гусак как будто и догадался, и, наверно, все бы кончилось хорошо. Но в этот момент выбежал из кустов Витька с ружьем, сын хозяина гусей, и прицелился в плавающую голову Жульки...

Сердце у меня оборвалось. Но почему я не крикнул, не остановил мальчишку? Мне кажется теперь, как будто все было во сне, что от ужаса я онемел. На самом же деле, конечно, я бы крикнул, если бы только было мгновение для крика. Все произошло так скоро, что крикнуть я не успел.

Грянул выстрел.

Я успел все-таки увидеть, что чья-то рука из кустов толкнула Витьку в плечо и дробь хлестнула по воде далеко от места побоища.

Витька хотел стрелять из второго ствола, но голос из кустов остановил его:

— Что ты делаешь? Собака законно гонит гусей: тут водоохранная зона, не собака, а гуси тут незаконные. Ты, дурак, своего отца подведешь!

Тут, конечно, и у меня язык развязался, да и Жулька опомнилась от выстрела, услышала мой зов, поплыла к моему берегу.

Конечно, я тут не растерялся до того, чтобы открыть Жульке свою радость спасения.

Напротив, я ждал ее на берегу мрачный и говорил ей своим видом, как я умею

разговаривать с собаками.

— Плыви, плыви, — говорил я, — ты мне ответишь за гусиный пух!

Выйдя на берег, она, по собачьему обыкновению, хотела укрыть свое смущение посредством делового встряхивания, фыркания, катанья своего по песку. Но как она ни старалась, гусиный пух с ее носа и рта не слетал.

— Ты мне ответишь за гусиный пух! — повторил я.

Наконец и ей надоело притворяться, обернулась ко мне, и я прочитал по ее виду:

«Что же делать, хозяин, я уж такая...»

— Нет, матушка, — отвечал я, — ты не должна быть такая.

«Что же делать?» — спросила она и сделала шаг в мою сторону.

— Что делать? — сказал я. — Иди-ка, иди ко мне на расправу.

Нет, этого она боится. Она ложится на брюхо, вытягивает на песке далеко от себя вперед лапы, кладет на них голову, большими человеческими глазами глядит на меня.

«Прости меня, хозяин!» — говорит она глазами.

— Пух у тебя на носу! — говорю я. — Отвечай за пух!

«Я больше не буду!» — говорит она глазами с выступающими на белки красными от напряжения и раскаяния жилками.

— Ладно! — говорю я таким голосом, что она меня понимает и несется ко мне.

Так все хорошо кончилось, но одно я в радости своей упустил. Я не успел рассмотреть, кто же это был спаситель Жульки. Когда я вернулся домой и захотел приступить к своим обычным занятиям, мысль о неизвестном не давала мне работать. Любовь моя к охоте, к природе, к собаке не могла оставаться во мне теперь без благодарности спасителю моей прекрасной собаки...

Так я отложил свои занятия и пошел к учителю в школу, за несколько километров от нас. По маленькой руке, толкнувшей Витьку в плечо, по голосу я знал, что это был мальчик. По рассудительному окрику я знал, что мальчик, наверно, учился в школе.

Рассказав все учителю, я попросил его найти мне мальчика, спасителя Жульки, обещал, что подарю ему любимую мою книгу «Всадник без головы» в хорошем издании. Учитель обещал мне найти мальчика, и после того я уехал надолго учить Жульку в болотах.

Приближалось время охоты, когда, выучив Жульку, я вернулся домой и в первый же день направился к учителю.

Оказалось, найти спасителя Жульки не так-то легко. Но только несомненно, что он был среди школьников.

— Он сделал хорошее дело, — сказал я, — мы ищем, чтобы поблагодарить его, почему же он не хочет открыться?

— В том-то и дело, — ответил учитель, — ему не хочется выхваляться тем, что самому ничего не стоило. Он стыдится, и это стыд здоровый: каждый должен был так поступить.

— Но не все же такие мальчики: нам нужно непременно найти его, нам нужен пример для других.

— Это правда! — ответил учитель.

И, подумав немного, сказал:

— Мне пришла в голову мысль. Мы найдем! Скажите, сколько было гусей?

— Их было восемь, — ответил я.

— Так помните: восемь, — сказал учитель, — и напишите рассказ об этом случае, напишите правдиво и подчеркните в нем, что было не сколько-нибудь, а именно восемь гусей.

Замысел свой учитель от меня скрыл. Я и не стал допытываться, скоро написал рассказ, и в одно воскресенье мы с учителем устроили чтение в школе веселых рассказов разных авторов. Так дошло и до чтения моего правдивого рассказа о собаке Жульке и о гусях. Нарочно для правдивости я и Жульку привел в школу, показывал, как она по слову «лежать!» ложится, как делает стойку.

Веселье началось особенное, когда я читал про гусиный пух и что я, как полководец, держал в уме поведение каждого гуся.

— А сколько их всех было? — спросил меня в это время учитель.

— Восемь гусей, Иван Семеныч!

— Нет, — сказал учитель, — их было пятнадцать.

— Восемь! — повторил я. — Утверждаю: их было восемь.

— И я утверждаю, — резко сказал Иван Семеныч, — их было именно пятнадцать, и могу доказать; хотите, пойдем сейчас к хозяину и сосчитаем: их у него пятнадцать.

Во время этого спора чье-то нежное, стыдливое сердце сжималось от боли за правду, и это сердце было на стороне автора рассказа о гусях и собаке. Какой-то мой слушатель, мой читатель будущий, мой сторонник горел за правду у себя на скамеечке.

— Утверждаю, — сказал учитель, — гусей было пятнадцать.

— Неправда! — закричал мой друг. — Гусей было восемь!

Так мой друг поднялся за правду, весь красный, вихрастый, взволнованный, с глазами, гневно устремленными на учителя.

Это и был Вася Веселкин, стыдливый, застенчивый в своих добрых делах и бесстрашный в отстаивании правды.

— Ну, спасибо тебе, мой друг, — сказал я и подарил спасителю моей Жульки любимую в детстве книгу «Всадник без головы».

Лесной хозяин

Так вхожу я к ним в это время, и мне кажется: они все, как люди, повернулись ко мне лицами и по глупости своей у меня, как у Бога, просят дождя.

— А ну-ка, старик, — приказал я дождю, — будет тебе всех нас томить, ехать так ехать, начинай!

Но дождик в этот раз меня не послушался, и я вспомнил о своей новой соломенной шляпе: пойдет дождь — и шляпа моя пропала. Но тут, думая о шляпе, увидел я необыкновенную елку. Росла она, конечно, в тени, и оттого сучья у нее когда-то были опущены вниз. Теперь же, после выборочной рубки, она очутилась на свету, и каждый сук ее стал расти кверху. Наверно, и нижние суки со временем поднялись бы, но ветки эти, соприкоснувшись с землей, выпустили корешки и прицепились... Так под елкой с поднятыми вверх сучьями внизу получился хороший шалашик. Нарубив лапнику, я уплотнил его, сделал вход, устелил внизу сиденье. И только уселся, чтобы начать новую беседу с дождем, как вижу, против меня, совсем близко, пылает большое дерево. Быстро схватил я с шалаша лапник, собрал его в веник и, стегая по горящему месту, мало-помалу пожар затушил раньше, чем пламя пережгло кору дерева кругом и тем сделало бы невозможным движение сока.

Вокруг дерева место не было обожжено костром, коров тут не пасли, и не могло быть подпасков, на которых все валят вину за пожары. Вспомнив свои детские разбойничьи годы, я сообразил, что смолу на дереве поджег, скорей всего, какой-нибудь мальчишка из озорства, из любопытства поглядеть, как будет гореть смола. Спустившись в свои детские годы, я представил себе, до чего же это приятно взять чиркнуть спичкой и поджечь дерево. Мне стало ясно, что вредитель, когда загорелась смола, вдруг увидел меня и скрылся тут же где-нибудь в ближайших кустах. Тогда, сделав вид, будто я продолжаю свой путь, посвистывая, удалился я с места пожара и, сделав несколько десятков шагов вдоль просеки, прыгнул в кусты и возвратился на старое место и тоже затаился.

Недолго пришлось мне ждать разбойника. Из куста вышел белокурый мальчик лет семи-восьми, с рыжеватым солнечным запеком, смелыми, открытыми глазами, полуголый и с отличным сложением. Он враждебно поглядел в сторону просеки, куда я ушел, поднял еловую шишку и, желая пустить ее куда-то в меня, так размахнулся, что перевернулся даже кругом себя. Это его не смутило; напротив, он как настоящий хозяин лесов, заложил обе руки в карманы, стал разглядывать место пожара и так сказал:

— Выходи, Зина, он ушел!

Вышла девочка, чуть постарше, чуть повыше и с большой корзиной в руке.

— Зина, — сказал мальчик, — знаешь что?

Зина глянула на него большими спокойными глазами и ответила просто:

— Нет, Вася, не знаю.

— Где тебе! — вымолвил хозяин лесов. — Я хочу сказать тебе: не приди тот человек, не погаси он пожар, то, пожалуй, от этого дерева сгорел бы весь лес. Вот бы мы тогда поглядели!

— Дурак ты! — сказала Зина.

— Правда, Зина, — сказал я. — Вздумал чем хвастаться, настоящий дурак!

И как только я сказал эти слова, задорный хозяин лесов вдруг, как теперь говорят, «смылся».

А Зина, видимо, и не думала отвечать за разбойника. Она спокойно глядела на меня, только бровки ее поднялись чуть-чуть удивленно.

При виде такой разумной девочки мне захотелось обратить всю эту историю в шутку, расположить ее к себе и потом вместе обработать хозяина лесов. Как раз в это время напряжение всех живых существ, ожидающих дождя, дошло до крайности.

— Зина, — сказал я, — смотри, как все листики, все травинки ждут дождя. Вон заячья капуста даже на пень забралась, чтобы захватить первые капли.

Девочке моя шутка понравилась, она милостиво мне улыбнулась.

— Ну, старик, — сказал я дождю, — будет тебе всех нас томить, начинай, поехали!

И в этот раз дождик послушался, пошел. А девочка серьезно, вдумчиво сосредоточилась на мне и губки поджала, как будто хотела сказать: «Шутки шутками, а все-таки дождик пошел».

— Зина, — сказал я поспешно, — скажи, что у тебя в этой большой корзине?

Она показала: там было два белых гриба. Мы уложили в корзину мою новую шляпу, закрыли папоротником и направились от дождя в мой шалаш. Наломав еще лапнику, мы укрыли его хорошо и залезли.

— Вася! — крикнула девочка. — Будет дурить, выходи!

И хозяин лесов, подгоняемый проливным дождем, не замедлил явиться.

Как только мальчик уселся рядом с нами и захотел что-то сказать, я поднял вверх указательный палец и приказал хозяину:

— Ни гугу!

И все мы трое замерли.

Невозможно передать все прелести пребывания в лесу под елкой во время теплого летнего дождя. Хохлатый рябчик, гонимый дождем, ворвался в середину нашей густой елки и уселся над самым шалашом. Совсем на виду под веточкой устроился зяблик. Ежик пришел.

Проковылял мимо заяц. И долго дождик шептал и шептал что-то нашей елке. И мы долго сидели, и все было так, будто настоящий хозяин лесов каждому из нас отдельно шептал, шептал, шептал...